

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена **исключительно для использования в личных (некоммерческих) целях**. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя (©Европейский университет в Санкт-Петербурге). В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия с правообладателем (©Европейский университет в Санкт-Петербурге) является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Мэри Маколи

Пятьдесят лет на окне в Петербурге
воспоминания чопорной англичанки

Санкт-Петербург 2019

УДК 908(470)
ББК 63.3(2-2СПб)
М15

Маколи, М.

М15 Пятьдесят лет на окне в Петербурге: Воспоминания чопорной англичанки / Мэри Маколи ; [пер. с англ. Е. Ивановой]. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. — 240 с. ; 12 [с.] ил.

ISBN 978-5-94380-271-3

Книга британского социолога Мэри Маколи повествует о ее жизни в Ленинграде — Санкт-Петербурге: с первого приезда в город в 1959 году и до сегодняшних дней. Опираясь на письма и дневники, автор вспоминает о студенческой жизни в общежитии в начале 1960-х, покупке квартиры в 1990-х, поездках в Якутию и в заповедник в Краснодарском крае. Автор прослеживает судьбы своих друзей и коллег — поколения, которое родилось в 1930-е, пережило войну в детстве, хрущевскую оттепель в студенчестве и молодости и, пройдя через брежневские времена, уже немолодым встретило те изменения, которые потрясли город и страну в ходе перестройки и после нее. Изначально написанная для западных читателей, книга рассказывает о городе и его жителях глазами англичанки; первый ее перевод адресован российским читателям разных поколений, петербуржцам и всем интересующимся повседневной жизнью России и СССР.

УДК 82-94
ББК 84

На обложке: А. Овчинникова. Этюд. 2005. Фрагмент.

© М. Маколи, 2019
© Европейский университет
в Санкт-Петербурге, 2019

ISBN 978-5-94380-271-3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие: Герань Живкова	6
Часть I. Ленинград. 1941–1991	11
Глава 1. Дети Сталина: ленинградцы	12
Глава 2. Дети Сталина: залетные птицы	30
Глава 3. Изучение трудовых споров в начале 1960-х	51
Глава 4. Застой: 1965–1985	60
Глава 5. Последние дни Ленинграда: нет еды, но есть надежда. . 81	
Часть II. Санкт-Петербург: город на распутье. 1991–1994.	109
Глава 6. Политическая обстановка	110
Глава 7. Покупка квартиры и установка телефона	117
Глава 8. Пучина рынка	138
Глава 9. От Кавказа до Сибири и дальше	155
Глава 10. Стратегии выживания	185
Часть III. Санкт-Петербург. Возрождение. 1995–2017	199
Глава 11. Большие ожидания и реставрация	200
Глава 12. Прощание с Петербургом	219
Постскриптум	234
Источники и благодарности	236
Действующие лица	238

Предисловие

ГЕРАНЬ ЖИВКОВА

«Я так расстроилась! — пожаловалась Галина Евгеньевна. — Герань Живкова засохла». Шел 2014 год, и мы, как и каждую неделю, разговаривали по телефону. Галина — в своей петербургской квартире, стоя у кухонного окна, выходящего на детскую площадку в окружении высоких ясеней, куда в 6 вечера всегда слетались оглушительно каркающие вороны. Я — в своем домашнем кабинете в лондонском квартале Блумсбери, глядя через улицу на ряд эдвардианских домов с балконами, утыканными шипами от голубей. Галине уже за семьдесят. На наших подоконниках до сих пор растут одинаковые цветы, но у нее им лучше — больше света и солнца. И вдруг, почему-то, герань Живкова, привезенная более пятидесяти лет назад аспиранткой из Болгарии, сникла и завяла. «Не переживай, — ответила я, — моя жива, хоть и цветет нечасто. В следующий раз привезу тебе отросток». И через год, словно обрадовавшись возвращению домой, герань на ее подоконнике в Петербурге уже пускала побеги с мелкими синими цветочками.

Наши мысли связаны с прошлым множеством нитей — коротких и длинных, причудливо переплетенных. Телефонный разговор, случайная встреча, знакомое место или старая фотография тянут за собой в сегодняшний день давно забытые события, затерянные где-то на дальней полке памяти. Что мне вспомнилось после этого разговора?

В 1961 году мы с Галиной Евгеньевной жили на одном этаже общежития — по четыре человека в комнате — напротив Зимнего дворца. Вид из наших окон на пятом этаже был великолепен, особенно когда закатное солнце отражалось в окнах дворца и зажигало их золотом. С нами жила еще Дина из Софии, которая раньше работала в аппарате Тодора Живкова — первого

секретаря ЦК Болгарской коммунистической партии и председателя Государственного совета в 1954–1989 годах. Долгожитель Живков верил, что герань, с ее сильным камфорным запахом, полезна для сердца. Его кабинет был полон горшков с геранью, и Дина украдкой отрезала от цветов черенки. Их-то она и привезла с собой в Ленинград (так город назывался с 1924 по 1991 год) в общежитие, и один из росточков достался Галине. С тех пор герань Живкова сопровождает нас все пятьдесят лет дружбы.

Галина — в те годы студентка последнего курса кафедры истории Средних веков Ленинградского университета — приехала из Тулы, до революции знаменитой своими самоварами. Я — аспирантка из Оксфорда — писала диссертацию по трудовым спорам на юридическом факультете университета, проводя много времени на заводах и в судах. В то время политологию или социологию не преподавали (в Оксфорде предмета «социология» тоже не было).

К 1992 году Ленинград снова стал Санкт-Петербургом, Галина работала доцентом на кафедре истории Средних веков в Санкт-Петербургском университете, я взяла творческий отпуск в Оксфордском университете и занималась научными исследованиями в недавно организованном Социологическом институте. Галина приватизировала свою «сталинку» на Васильевском острове, а я, с ее помощью, купила двухкомнатную квартиру в «кооперативном» доме 1970-х годов. Или не купила? Не совсем ясно, была ли я ее владельцем. Так или иначе, жила я теперь у Среднего проспекта, почти в центре острова, что не мешало чувствовать открытое пространство вокруг и близость моря. Герань заняла свое место на подоконнике, а через несколько лет переехала со мной в Москву. Позже — в 2002-м — я увезла ее с собой в Лондон. Когда Галина приезжала ко мне, то говорила, что всегда знает, как найти мою квартиру в Блумсбери — по цветочному ящику за окном. Он напоминал ей горшок с геранью, появившийся в окне явочной квартиры в знак того, что все в порядке и можно заходить, в «Семнадцати мгновениях весны» — знаменитом фильме 1970-х годов о советском разведчике в гитлеровской Германии с Вячеславом Тихоновым в главной роли.

В 2016 году мы приехали в больницу на окраине города, где у Галины было назначено обследование. Надев внизу синие одноразовые бахилы и поднявшись по лестнице и на лифте, мы сели в коридоре. Вскоре появился Дмитрий Игоревич — молодой врач в белом халате — и пригласил Галину в кабинет. Я сидела и вспоминала, как в 1961 году попала в Свердловку — больницу для старых большевиков, где вызвала всеобщий интерес у врачей и самих старых большевиков, прогуливавшихся в пижамах по коридору. Понять их было можно — они впервые видели англичанку, а англичане известны своей «жеманностью» или «чопорностью». Я чувствовала себя ужасно, изо всех сил стараясь не выглядеть «чопорно». Вы еще не раз встретите это слово на страницах моей книги. Но не сейчас: Галина и Дмитрий Игоревич вышли из кабинета, и Галина, держа его под руку, с улыбкой представила меня: «А это Мэри, я вам о ней говорила, она — профессор из Оксфорда, мы дружим уже больше пятидесяти лет».

Итак, читателю, который хочет знать, о чем эта книга, скажу, что это — история дружбы. Но не только. Это — история города, Санкт-Петербурга, увиденная через призму воспоминаний и впечатлений определенного поколения.

* * *

Для кого я пишу? Для западных читателей, собирающихся впервые приехать в Санкт-Петербург, — они могут узнать о прошлом города, чтобы полнее прочувствовать настоящее. Для тех, кто приезжал в этот город или жил в нем в годы его превращения из Ленинграда в Санкт-Петербург, — книга поможет оживить воспоминания, что-то добавить, рассказать о том, что было до и после. Для тех, кто впервые приехал в город в шестидесятые, это сборник воспоминаний.

Но как рассказать историю преобразования города, даже нескольких его преобразований после Второй мировой войны, как дать попавшему сюда современному человеку ощутить корни, почувствовать прошлое города и его жителей? Моих воспоминаний недостаточно, но я могу рассказать историю города от лица своих сверстников: тех, кто пережил его блокаду в детстве, был подростком в 1953 году, когда умер Сталин, взрослым надеялся

на лучшее в годы правления Хрущева, разочаровывался в брежневскую эпоху, терял почву под ногами в девяностые. Сегодня это пожилые люди, которые пытаются приспособиться к современной жизни Петербурга. Я не претендую на то, что описала типичных представителей того поколения, но поступки, письма и дневники моих героев помогут оживить воспоминания о людях и городе той поры.

Подробнее всего я остановлюсь на двух периодах — начале шестидесятых и начале девяностых — не только потому, что в эти годы я жила в Ленинграде — Санкт-Петербурге, но и потому, что для нашего поколения это были годы перемен и пересмотра взглядов на жизнь. Готовя этот срез социальной истории или мемуары (назовите на свой вкус) и просматривая письма, дневники, записные книжки, опубликованные и неопубликованные воспоминания, я поняла, что некоторые аспекты нашей жизни играли в ней очень важную роль: поездки из Петербурга в другие города и страны — поезда, автомобили; места проживания — общежития, квартиры; повседневная жизнь — в особенности еда; средства общения — телефон, письма; культурная жизнь — театры, библиотеки, музеи; мир науки и высшего образования. Конечно, было и многое другое — любовь, свадьбы, разводы, а со временем — болезни и смерть. Иногда вмешивалась и политика — в той мере, в какой политическая система или государство влияют на обычную жизнь. Иногда политика выходит на первый план, а иногда остается лишь фоном. Но я пишу не историю политических изменений, а историю повседневной жизни. И, конечно, излагаю ее со своей точки зрения: призма, через которую я смотрю на моих друзей, знакомых и коллег, да и на саму Россию, находится в руках английского наблюдателя. Я воспринимаю поход за покупками в финский гипермаркет на Васильевском острове совсем не так, как Галина. Это — моя Россия, а не их. Книга написана не для моих русских друзей, хотя и посвящается им. Некоторые из них могут прочесть ее с интересом, другие — с улыбкой, кто-то — покачив в недоумении головой и отметив, насколько их восприятие отличается от моего.

Мы дважды покинем Санкт-Петербург: первый раз — чтобы посетить заповедник на юге России, на Северном Кавказе, а второй — для знакомства с Мирным, бриллиантовой столицей

северо-восточной Сибири. Так же как начиная с 1990-х годов Галина и другие мои друзья из Петербурга могут приезжать в Англию и гостить там (что невозможно было вообразить еще в середине восьмидесятых), так и я могу путешествовать по всей России, видеть большие и малые города, леса и озера далеко от Москвы, Петербурга и тщательно отреставрированных архитектурных жемчужин Пскова и Новгорода. Сегодня цены на авиабилеты сравнялись с европейскими, а современный поезд «Сапсан» домчит вас до Москвы за четыре часа. В начале девяностых билеты были невероятно дешевы — билет на самолет до Сибири стоил как шариковая ручка, а на ночной поезд Петербург — Москва — меньше доллара, хотя достать их было трудно, а ночные поезда были небезопасны. Еще можно было добираться автобусом, на корабле, а до труднодоступных мест даже на вертолете. Я бы могла рассказать вам о поездках на Соловки (острова в Белом море, где находился лагерь особого назначения и погибло множество заключенных), в Екатеринбург и Пермь на Урале, в Астрахань на Каспийском море, или в столицу Татарстана Казань, или в манящую Москву, но все это уже совсем другая история. Недолгие отъезды из Петербурга помогут нам осознать, как ярко выделяется присущее ему уникальное сочетание западной архитектуры, культуры, русских традиций и современности на фоне огромной России. Для этого, в свое время, мы отправимся в путь и вернемся, чтобы рассказать историю, начинающуюся в Ленинграде в 1930-х и заканчивающуюся в сегодняшнем Санкт-Петербурге.

Часть I

ЛЕНИНГРАД. 1941–1991

Глава 1

ДЕТИ СТАЛИНА: ЛЕНИНГРАДЦЫ

Санкт-Петербург основан в 1703 году Петром I, решившим прорубить для России «окно в Европу». Но, несмотря на элегантные дворцы, зачастую построенные итальянскими зодчими, на Английскую набережную, где жили английские и шотландские судовладельцы, на немецкую слободу на Васильевском острове, на то, что аристократы говорили по-французски так же свободно, как и по-русски, Петербург Европой так и не стал. К Екатерине Великой (немке по происхождению) приезжал Дидро, петербургские опера и балет гремели на всю Европу, но когда в начале ноября выпал снег и дни становились совсем короткими, ехать сюда мало кому хотелось. По снегу едва слышно шуршали сани, и воцарялась тишина, нарушаемая лишь ежедневными маршами военных оркестров и пушечными выстрелами с Петропавловской крепости, возвещавшими полдень. Богатые семьи обычно проводили зимний сезон в Европе.

В 1924 году город, переименованный в Ленинград в честь вождя Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина, совершенно изменился. Аристократия по большей части эмигрировала, а оставшиеся лишились всего, что имели. Дома, металлургические и вагоностроительные заводы, судостроительные верфи, фарфоровые и кондитерские фабрики, университеты, школы и институты, медицинские учреждения и транспорт были национализированы. Ставни на «окне» постепенно закрывались. К иностранцам относились с подозрением, а советские люди начиная с тридцатых годов могли выехать за границу, только если работали на морском флоте или входили в состав официальных делегаций. Город пережил аресты и казни в ходе политических чисток конца 1930-х, опустошительную блокаду 1941–1944 годов, а после войны — новые политические чистки.

И лишь в 1960-м «окно в Европу» чуть-чуть приоткрылось. Кое-кто из ленинградцев мог выезжать за рубеж. В европейских столицах изредка проходили выступления балета Кировского театра или Ленинградской филармонии. В Ленинграде стали появляться организованные группы туристов из Европы и Америки, а немногочисленные западные студенты и ученые начали работать в библиотеках и архивах. Их взорам предстал город с островами, реками и каналами, элегантными набережными XVIII века, верфями, высокими домами и грязными дворами, заводскими зданиями XIX века из красного кирпича и редкими сверкающими золотом шпилями. Ленинград оставался одним из красивейших городов мира — повсюду дворцы, великолепные особняки, широкие улицы и городские парки с сидящими на скамейках старушками и копошащимися в песочницах детьми. Стены дворцов, музеев и официальных зданий были выкрашены в бледно-зеленый, бледно-желтый, иногда — ярко-красный цвет. Каждую весну их покрывали шаткие деревянные леса, с которых обновляли краску одетые в сапоги и белые платочки малярши с ведрами. Но пережитые блокада и война все еще ощущались, большинство жителей теснились в коммунальных квартирах (по комнате на семью) с одной общей кухней и ванной.

«Ветераны?» — спросила кассирша, когда однажды в 1990 году мы с Галиной отстояли длинную очередь за билетами в картинную галерею и оказались перед кассой. «Нет!» — ответили мы, обидевшись на ее подозрение, что мы такие старые и могли воевать. Хотя мы могли быть блокадниками, детьми блокадного Ленинграда. Им тоже полагалось бесплатное посещение музеев и бóльшая пенсия. Среди моих друзей есть блокадники. Отпечаток войны лежит на детских годах всего моего поколения, родившегося в 1930-х в Ленинграде или других городах России. Для ленинградцев война означает блокаду. Свидетельствами ее многотысячных жертв остались длинные поросшие травой холмы — братские могилы на Пискаревском кладбище, а воспоминания переживших блокаду можно было слышать в начале 1960-х каждый день. Даже в 1980-х, когда я брала интервью у пожилых ленинградцев и просила их рассказать о детстве, приходившемся на 1920–1930-е годы, практически все начинали говорить о блокаде, оставившей в их памяти неизгладимый след.

«Давайте в следующий раз», — просила я, по опыту зная, что стоит заговорить на эту тему, и к 1920-м годам мы уже никогда не вернемся.

Дети-блокадники прекрасно понимают друг друга — у них общее прошлое. Студенты, приехавшие в пятидесятых в Ленинград со всей России, могли испытать в войну не меньше горя, чем их ленинградские однокашники, но их опыт был другим, и Ленинград не был их домом. Они, как и иностранные студенты, приехали сюда только на время. Для них Ленинград был сокровищницей культуры и науки, где они пять лет учились (или не учились), пытаясь прожить на скромные стипендии, влюблялись и расставались, а потом разлетались по городам и весям. По крайней мере, так было со студентами исторического факультета из общежития на берегу Невы, которое называли Мытней. Остаться после института в городе можно было, только получив заветное место в аспирантуре (как Галина) или выйдя замуж за ленинградца. Родившиеся в Ленинграде и имевшие прописку могли, приложив некоторые усилия, устроиться на работу после выпуска, но обычно студенты сталкивались с двумя препятствиями: во-первых, с системой «распределения», по которой выпускники должны были два-три года отработать в любом, даже самом отдаленном, месте страны, куда получали направление, и, во-вторых, иногородние — с отсутствием прописки. Прописка, придуманная, чтобы противостоять сильнейшему притяжению двух столиц — Москвы и Ленинграда, исподволь делила всех на коренных ленинградцев, по праву считавших город своим домом, знавшим его и друг друга, и тех, кто, даже прожив здесь двадцать лет, продолжал ощущать себя провинциалом.

Но, несмотря на все различия, у людей, рожденных в 1930-е, было очень много общего. Все они детьми или подростками пережили войну и тяжелые голодные послевоенные годы. Все были школьниками или студентами, когда в 1953 году умер Сталин, и еще не закончили учиться, когда в 1956 году Хрущев осудил культ личности в своем секретном докладе. Они стали первым поколением студентов, почувствовавших оттепель и попытки приоткрыть железный занавес. Лишь один из моих друзей в начале шестидесятых — Володя Смирнов — был достаточно взрослым, чтобы участвовать в боях. Поэтому я решила начать

с рассказа о его жизни в блокаду и только потом перейти к тем, кто был слишком молод для призыва в армию (еще одна общая черта поколения 1930-х).

Блокада

Володя, со шрамом на голове, всегда был одет хуже всех; казалось, его светлых растрепанных волос никогда не касалась расческа. Его средства были крайне ограничены: пенсия по инвалидности и случайная работа в литературном архиве. Страстью Володи была литература — русская и французская, и на этой почве он иногда знакомился с иностранцами. В друзьях у него ходили странные люди: например, человек, занимавшийся продажей театральных билетов, способный достать, скажем, пять штук. Тогда, если нас было шестеро, мы шумной суетящейся толпой налетали на беспомощную контролершу и проскакивали в зал, пока она путалась в счете.

Однажды великолепным летним вечером, когда бледно-зеленый Зимний дворец и желтое Адмиралтейство выглядят особенно безмятежно над тихой рекой, мы сидели в саду у здания Адмиралтейства под цветущей сиренью. Я попросила его рассказать о блокаде и вот что услышала. В 1939 году, когда Советский Союз объявил войну Финляндии, Володе было пятнадцать; водка из магазинов пропала, и его отец-алкоголик умер, выпив метилового спирта; мама работала железнодорожным кондуктором, но, когда летом 1941-го немцы подошли к Ленинграду, поезда ходить перестали, и она сидела дома, в их комнате в коммуналке. Володя, приписав себе лишние годы, ушел на фронт и был отправлен защищать «Невский пятачок» (плацдарм на левом берегу Невы близ Ленинграда, окруженный немецкой армией). К счастью, после легкого ранения его переправили обратно в город до того, как немцы захватили советские оборонительные позиции. Потом началась блокада и страшная зима 1941–1942 годов. Как молодому солдату, ему полагался лучший паек, чем гражданским, — кусок хлеба и водянистый суп на обед, еще один кусок хлеба и немного селедки на ужин и кусочек шоколада. Старичок-еврей, сосед по коммуналке, обычно оставлял ему кое-что из своего пайка, еще более скудного. Задача

молодых солдат состояла в патрулировании улиц и поддержании порядка в очередях за хлебом. Иногда мужчина или женщина, обезумев от голода, выхватывали хлеб у уже получивших паек и судорожно запихивали его в рот. Таких солдаты забирали и расстреливали у реки.

Володина воинская часть располагалась в Александро-Невской лавре, в конце Старо-Невского. Мама жила на Лиговском. Накануне Нового года он пошел навестить ее и обнаружил мертвой — она умерла от голода. Старичок-еврей тоже умер, оставив свой последний паек для Володи, а всю мебель (и книги), кроме кровати, на которой лежала мама, соседи пустили на дрова. Володя вынес тело матери на улицу и, не желая хоронить ее в общей могиле, нашел санки и побрел на церковное кладбище. Дорога была дальней, мороз страшным, но когда он добрался до церкви, священники усадили его к огню и налили водки. Немного согревшись, он отправился в обратный путь к казармам. Примерно за километр до цели ноги у него подкосились и он упал, но случайный прохожий поднял его, приговаривая, что нужно двигаться, чтобы не умереть. Володя добрался до Лавры и, невероятным усилием взобравшись по лестнице, оказался в казарме. Большинство солдат спали, кто-то играл в карты. При его появлении все оживились, забросили игру и стали заключать пари, сколько он проживет — ставкой были Володины шинель и сапоги. Тогда это было обычным делом.

Володя решил сделать последнюю попытку выжить: добрел через двор до ближайшей больницы и лег в коридоре среди других умирающих. Изнуренные врач, медсестра и администратор, не зная, что делать с огромным количеством больных и раненых, решили отправить как можно больше в другую больницу. Володя помнит, как их навалом погрузили в открытый кузов грузовика и два водителя принялись объезжать одну больницу за другой в тщетной надежде, что больных примут. В конце концов, водители поняли, что их единственный шанс — выгрузить всех у дверей, позвонить и быстро уехать. Так Володя, благодаря чудесной случайности, оказался в военном госпитале, где была еда. Но есть к этому времени он уже не мог — его язык распух, и он медленно умирал. На соседней кровати лежал очень голодный грузин огромного роста, который пообещал Володе, слишком слабому,

чтобы возражать, что вылечит его, если тот отдаст ему свой паек. Грузин взял Володю за челюсть, прижал язык, запихнул в горло кусок селедки, влил глоток уксуса и сжимал ему челюсти, пока тот боролся с рвотой. Время от времени сосед повторял свое лечение, съедая Володины кашу, хлеб и суп. Через несколько дней грузин впихнул ему кусочек хлеба, и с этого момента Володя снова начал есть. Все это делалось в тайне от врачей. После выздоровления Володю снова отправили на фронт. Он прошел всю войну, был несколько раз ранен, за это ему назначили пенсию по инвалидности. Вернувшись в Ленинград, он два года проработал на заводе, а потом поступил в университет на отделение французской литературы. И хотя Володя был более критично настроен по отношению к сталинскому прошлому и советскому настоящему, чем мои друзья-студенты, он все же никогда не сомневался, что Октябрьская революция была для бедных огромным благом, что идеалы социализма прекрасны, а капиталистическая действительность не выдерживает никакой критики.

Эльмар и его друзья

В конце пятидесятых контакты СССР с Западом начали осторожно возобновляться. В 1957 году в Москве состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где впервые с 1930-х годов советская молодежь смогла встретиться и пообщаться с ровесниками из других стран. Молодой философ Эльмар Соколов, в нарушение всех правил, привез на две недели к себе домой в Ленинград английского студента. Когда они наконец пришли регистрироваться в милицию, Джиму вручили обратный билет и велели на следующий же день уехать, а к Эльмару домой явился полковник КГБ. Так у Эльмара начался период общения с приезжающими английскими студентами. В те годы Национальный союз студентов Великобритании начал организовывать зарубежные поездки. В сентябре 1959 года, месяц проработав продавщицей и официанткой и скопив необходимые 30 фунтов, я отправилась в трехнедельную поездку в Москву, Ленинград и Киев. В Ленинграде я познакомилась с Эльмаром — «невысоким блондином с прищуренными глазами», как я написала тогда в дневнике. Он свозил меня и еще двух студентов на электричке

погулять в парк в Пушкине, а потом пригласил к себе в квартиру в Ботаническом саду и угостил молдавским вином и пирожками с капустой.

Потом мы два года переписывались — я рассказывала о посещениях рабочих советов в Югославии, о рукописях Маркса 1844 года, о «Двух концепциях свободы» Исайи Берлина (он спрашивал, могу ли я прислать ему экземпляр), мы обсуждали Джорджа Оруэлла и что будет при коммунизме. Позже мы стали избегать подобных опасных тем — письма из-за границы вскрывались и просматривались. И все же, если бы нам — когда мы снова встретились в начале шестидесятых — сказали, что через двадцать лет за хранение книги «1984» Оруэлла будет грозить уголовное наказание, мы бы рассмеялись. Да и сама мысль о том, что в следующие тридцать лет все контакты между СССР и другими странами будут ограничены официальными делегациями, казалась абсурдной.

В 1941 году, когда немцы подошли к Ленинграду, семья Эльмара переехала в город, в Ботанический институт, а после смерти директора института отца Эльмара назначили на его место. Так они получили большую трехкомнатную квартиру на верхнем этаже старого здания на территории Ботанического сада. Эльмару было восемь, его сестре — шесть, с ними вместе жила и бабушка. Родители Эльмара, выходцы из небогатых семей среднего класса провинциальной дореволюционной России, вступили в коммунистическую партию еще до приезда в Ленинград на учебу в конце двадцатых годов. Они никогда не сомневались в справедливости руководящей роли партии и в превосходстве социализма над капитализмом. Они не регистрировали свой брак (ненужная буржуазная условность) до 1950-х годов и называли своего старшего сына, родившегося в 1932-м, Эльмаром в честь Энгельса, Ленина и Маркса. В кругу коллег отец Эльмара считался «настоящим коммунистом», под этим они подразумевали, что он предан развитию ботанической науки в интересах всего человечества и помогает тем, кому это необходимо. Он поддерживал родственников арестованных и отправлял в дальние командировки сотрудников, которым грозил арест. Когда, в ходе проводимой руководством страны кампании, члены парторганизации института передали ему характеристики

политической зрелости своих коллег, он собрал их в толстую папку и запер в шкаф. От предложенной дачи он отказался: это было слишком похоже на частную собственность. А однажды, когда во время спора о верности в браке он заговорил о коммунистической морали и Эльмар со злостью закричал: «К чертям твою партию!», отец сел на кровать и разрыдался.

К 1960 году Эльмар и сам был членом партии, и это все усложняло еще больше. Как же прошло детство Эльмара? Ботанический сад, во время войны разделенный на участки под огороды, очень помог семье пережить военные годы, а в школе он нашел верных друзей на всю жизнь. Когда я в 1961 году познакомилась с ними, все, кроме Эльмара, уже были научными сотрудниками, у всех были семьи, все они то и дело меняли жен и девушек и мало времени уделяли своим детям. Мальчишки в блокаду, подростки в послевоенные годы и студенты в год смерти Сталина, все они выросли в очень тяжелых условиях. Семья Эльмара была самой благополучной. Юрий, отец которого погиб на войне, был солидным и спокойным, он и темноволосый Володя (певший незабываемым голосом) играли на гитаре. Дима, похожий на молодого Максима Горького, потерял обоих родителей и жил с тетей, у них не было денег даже на зимнюю обувь. Лёвин отец был инженером и собирался написать мемуары «Гримасы коммунизма». Наверное, от него Лёва и перенял неприязнь к существующей власти. Однажды во время войны он вырвал все страницы из своей тетрадки, исписал их фашистскими антикоммунистическими лозунгами и раздал друзьям. Два дня ему пришлось провести в управлении КГБ, где его неплохо кормили, но все ограничилось вызовом родителей — Лёву отпустили. После этого школьный завуч периодически вызывал его к себе, хлестал по лицу и кричал, чтобы он не смел заниматься пропагандой. После войны к их компании присоединился Олег, в аккуратных гамашах и новой куртке, которой очень гордился. Как-то Эльмар довел его до слез, забрызгав куртку чернилами. «Как я теперь домой пойду? — рыдал мальчик. — Мама на нее потратила все сбережения». Эльмар не чувствовал себя виноватым, но был крайне смущен. Он привел Олега к себе домой, где получил нагоняй от бабушки, которая все же отчистила куртку и написала записку маме Олега.

К концу войны друзья превратились в неугомонных, вечно скучающих подростков, которым предстояло еще несколько лет проучиться в школе — наверстать перерыв в занятиях в годы войны. В Ботаническом саду росли фруктовые деревья. Эльмар узнавал, когда намечен сбор фруктов, сообщал друзьям, и накануне ночью они приходили и рвали столько, сколько могли унести. Однажды ребята забрались в зимний сад и голышом запрыгнули в бассейн. В это время туда пришла комиссия во главе с отцом Эльмара, и друзьям ничего не оставалось, как выпрыгнуть в окна и, в чем мать родила, броситься через парк, к крайнему изумлению гуляющих. Лёва обожал тихонько улечься на ступенях плохо освещенной лестницы и пугать соседку-пенсионерку, которая неожиданно наступала на что-то мягкое — лежащего Лёву. Если она разливала при этом молоко, то становилось уже не смешно. Еще он мог протянуть поперек лестничной площадки тонкую проволоку, связав два почтовых ящика противоположных квартир — когда соседка проходила мимо, проволока натягивалась, и крышки ящиков приподнимались и с грохотом падали. В результате из квартир с руганью выскакивали возмущенные стуком в дверь соседи. Юрий и Володя прогуливались по улицам на расстоянии нескольких шагов друг от друга, связав свои шапки-ушанки тонкой веревочкой, которая была по лицам ничего не подозревающих прохожих.

Но в целом послевоенные годы были трудным и жестоким временем. Ребята дрались с шайками из других районов города. Вместе ездили за город и подрывали найденные неразорвавшиеся бомбы и снаряды. Приносили в школу пистолеты и, стоило учителю отвернуться, палили в классную доску. (Их ровесники тридцатых годов прятались на темных лестницах парадных и из рогаток били стекла в квартирах напротив). Отмечали окончание экзаменов, напиваясь в пивных барах на Невском. Однажды Эльмар попал в милицию и всю ночь провел в отделении, Лёва провалился под лед на Неве возле Эрмитажа, чудом удержал голову над водой, и его вытащил случайный прохожий. В другой раз, празднуя день рождения Эльмара, мальчишки залезли в бабушкин шкаф с заготовками и пошвыряли все банки вниз с черной лестницы.

В 1952 году Эльмар и Дима поступили в Ленинградский университет на химический факультет, Володя

и Юрий — в Технологический институт, Лёва и Олег — в медицинские институты. В 1955 году Эльмару, Диме и нескольким их однокурсникам объявили о переводе в Технологический институт. Вне себя от негодования, они написали жалобы. Три месяца Эльмар приходил в университет только за стипендией, отказываясь посещать занятия. В конце концов отец одной из студенток подключил свои связи в Москве, и всех восстановили в университете. Почему для перевода выбрали именно Эльмара и Диму? Возможно потому, что они недостаточно хорошо учились, а может быть потому, что они были единственными, кто отказался заниматься секретной работой.

Все друзья, за исключением Эльмара и Олега, жили в крайне стесненных условиях. Хуже всех, пожалуй, приходилось Юрию: мало того, что он жил в коммуналке в одной комнате с матерью и сестрой, так его мать еще и сдавала угол какой-то девушке. С жильем в Ленинграде были проблемы и до войны, а после войны ситуация стала катастрофической. Квартиры в старых многоквартирных домах постепенно превращались в коммуналки — в каждой комнате (часто разгороженной книжными полками или шкафами) жило по семье, кухня (с несколькими плитами), туалет и ванная были общими. График утреннего умывания был расписан по минутам. Прихожая тоже была общей, обычно там висел телефон. Все знали про всех практически всё. Лёва в шутку посылал Юрию открытки с приглашением на повторное обследование в кожно-венерологический диспансер — их читали все жильцы, так же как и «липовые» повестки в суд, которые друзья слали друг другу.

Когда — в редких случаях — в квартире жила только одна семья (как у Эльмара), то почти всегда это были три поколения — бабушка, родители, дети, а потом, когда дети создавали свои семьи, туда же въезжали их супруги. Эльмар женился на своей однокурснице Альбине, она переехала к нему, и у них родился сын. Но Альбина не смогла ужиться со свекром и свекровью, и молодые переехали в коммуналку к матери Альбины, откуда Эльмар очень быстро вернулся к родителям. Сирота Дима начал встречаться с девушкой из богатой и интеллигентной профессорской семьи, у которой была семикомнатная квартира. Семья Диму не одобрила, но его друзья уже успели договориться,

кто из них в какой комнате будет жить, после того как квартира станет Диминой. К сожалению, через четыре года эта девушка встретила человека, который, в отличие от Димы, водил ее в театр. На этом все и закончилось — разбив Димино сердце, она вышла замуж за нового знакомого.

Нехватка жилья была одной из причин ранних браков, часто слишком скоропалительных и с печальными последствиями. Юрий женился, получил комнату, а когда развелся, был вынужден остаться жить в одной комнате с бывшей женой — другого варианта не было. Девушку Лёвы выгнали из комнаты, которую она снимала, идти ей было некуда, и Лёва нехотя перевез ее со всеми пожитками к себе. Через месяц они поженились, но прожили в браке недолго. В 1961 году он ушел от своей второй жены и ребенка, а в 1963-м жил в двухкомнатной квартире с третьей женой Валей и ее мамой. Очень часто членом молодой семьи была пожилая мать, которая помогала воспитывать детей, но почти всегда была недовольна своим зятем или невесткой.

Эльмар учился на химическом факультете, но постепенно понял, что на самом деле его интересует философия, и пошел вольнослушателем в университет. Он получил два диплома, однако найти работу никак не получалось. Помог Юрий — устроил его лаборантом. Эльмар на работе не появлялся, только получал зарплату, которой делился с Юрием. Через некоторое время ему улыбнулась удача: предложили должность на факультете философии в Педагогическом институте им. А. И. Герцена, где он и преподавал, когда я приехала в Ленинград в 1961 году.

Теперь мы обсуждали менее серьезные вещи, и я с удивлением узнала, что он вступил в партию. Эльмар сказал, что подал заявление не потому, что разделял коммунистические идеалы, а потому, что декан философского факультета — партийный работник с большим стажем — намекнул, что это необходимо: отказ мог бы сильно повлиять на его научную карьеру, да и, в конце концов, не все ли равно — ведь он остался все тем же. Я была поражена, когда он сказал мне: «Откровенно говоря, я не считаю себя коммунистом, я считаю себя русским». Будучи непрактичным мечтателем-философом, вечно любопытным, Эльмар с самого детства больше всего стремился иметь возможность делать все, что заблагорассудится. В шестидесятых ему

это в целом удавалось. Он мог читать любые книги, имел доступ в «специальное хранилище», а написанная им и раскритикованная чиновниками от культуры книга «Культура и личность» лишь упрочила его репутацию. Членство в партии мало к чему его обязывало — только ходи на собрания. Эльмару посчастливилось работать на факультете, где на его нетрадиционные взгляды смотрели сквозь пальцы, хотя порой, когда он вступался за своих коллег или студентов, обвиняемых в аполитичном поведении, старшие товарищи делали ему выговоры за политическую близорукость.

Эльмар не стремился бороться с системой. Он утверждал, что ее можно обойти. Система — это как советский забор: на воротах всегда написано «Вход запрещен», а пойдя вдоль него и обязательно найдешь дырку. От него я узнала, что членство в партии мало что говорило о политических взглядах человека. Кто еще мог бы выбрать для лекции гидам Интуриста тему «Книга Оруэлла “1984”», а когда после лекции к нему подошел молодой человек из органов, спросить, нет ли у того «Фермы» почитать? Эльмар всегда был готов идти на риск. Он дал мне прочесть «строго секретный» протокол собрания на тему «Отцы и дети», состоявшегося на одном из факультетов университета, где все пошло не по плану: студенты стали обвинять старшее поколение в том, что в свое время они молчали и что сегодня тоже редко критикуют политическую ситуацию. Это было время, когда люди, реабилитированные за политические преступления, которых они не совершали, возвращались из лагерей и могли восстановиться на своих должностях на факультете и продолжать работать бок о бок с теми, кто когда-то их обличал. Из принципа они всегда голосовали против предложений своих коллег — иногда в зале даже летали пепельницы.

Эльмар и его компания редко обсуждали политические темы, но я знала, что настроены они критичнее, чем мои более молодые знакомые из общежития. Друзья подшучивали над членством Эльмара в партии. Лёва порой так набрасывался на него, что я не верила своим ушам. Однажды в походе в лес, который в блокаду был захваченным фашистами, он стал рассуждать о преимуществах нацизма над сталинизмом. Походы — зимой на лыжах по сосновому лесу и покрытому ледяными торосами

замерзшему морю, весной и летом пешком, с костром, палатками на берегу озера и ловлей раков, осенью за грибами и ягодами — были важной частью их жизни. Еще мы ездили на Финский залив, где кто-нибудь снимал комнату на даче. Спиртное лилось рекой. Перед походом мы долго договаривались по телефону, а потом бежали на электричку — всегда следующую за той, на которой планировали уехать. В электричке ехали стоя или сидя на деревянных скамейках, среди молодых и старых. Люди читали газеты, везли с собой рассаду или лыжи, были нагружены рюкзаками, корзинами и ведрами. Минут через сорок электричка уже ехала за городом и катилась через лес, мимо небольших деревушек и дачных поселков посреди бескрайних заснеженных полей. На даче, где той зимой Эльмар с друзьями снимали комнату, в каждой комнате было по огромной печке, и их сразу же надо было затопить, была кухня с газовой плитой, но не было воды. Из мебели — только две большие кровати, стол, стулья и шкаф. Мы, на длинных легких финских лыжах, катались по лесу и с горок. Один раз вечером гуляли под яркой луной по покрытому снегом замерзшему морю.

Позже, в семидесятых, когда с продуктами в городе стало хуже, мы брали в походы все, что удавалось купить, а не только хлеб, выпивку и колбасу. Если в летнюю жару продавалась мороженая рыба, то из одного рюкзака в другой перекочевывали оттаивающие, завернутые в газеты два килограмма рыбы. Но я забегая вперед. Пока мы в начале шестидесятых.

Близнецы Романковы

Детство близнецов Любы и Леонида Романковых, тоже ленинградцев, родившихся в конце тридцатых годов в семье ученых, прошло в большой квартире на одной из центральных улиц — улице Чайковского. Их отец и мать работали в Технологическом институте и, когда немцы подошли к городу, должны были эвакуироваться вместе с остальными сотрудниками института и их семьями. В последний момент большие семьи из списка вычеркнули. Так четырехлетние близнецы вместе с родителями, бабушкой, дедушкой и старшей сестрой остались в блокаде Ленинграде. Иногда в эвакуации семьи разлучались,

детей вывозили отдельно от родителей, и часто им уже никогда не удавалось встретиться. Вы помните, я сказала, что Галине было «за семьдесят»: когда рабочих завода, среди которых был ее отец, эвакуировали с семьями из Тулы на Урал, родители Галины исправили дату ее рождения в свидетельстве, чтобы они со старшей сестрой стали одного возраста, — в надежде, что не разлучат хотя бы детей. Когда война закончилась и они вернулись из эвакуации, оказалось, что проще уже не менять дату рождения обратно. Еще одну мою петербургскую подругу, Марину — эвакуированную вместе с детским садом — родители нашли чисто случайно, уже потеряв всякую надежду.

Близнецы Романковы были слишком малы, чтобы в полной мере понимать опасности и ужасы первой блокадной зимы. Они играли во дворе с другими детьми, радостно кричали, когда слышали свист и взрывы снарядов во дворах неподалеку, и наперегонки мчались туда, соревнуясь, кто найдет самый большой, еще горячий осколок. Люба хранила свои трофеи в коробке внушительных размеров, пока, на беду, не положила в нее что-то тикающее и встревоженная мама ночью не выкинула «сокровища» в Неву. В ту зиму мама перешла работать в роддом, поближе к дому, но все равно ее не было по целым дням, и дети оставались предоставленными сами себе. Когда бомба разрушила жилой дом в соседнем квартале, дети бегали туда рыться в завалах. Люба нашла два изящных серебряных подсвечника. Иногда маме удавалось принести детям что-то из еды. Рыбий жир они терпеть не могли, зато обожали клейстер, который высоко ценился блокадниками и который мама выдавала им по ложечке, как лекарство, из своих запасов. Своего кота они обменяли на буханку хлеба. В городе не осталось ни кошек, ни собак и повсюду кишели крысы.

Какое-то время вся семья, вместе с другими жителями соседних домов, проводила ночи в душном подземном бомбоубежище. Дети его ненавидели и устраивали истерики. В результате туда ходить перестали, и Люба с Леонидом спали в шкафу, убежденные, что там безопаснее. В одной из комнат взрывом выбило окна, но идти было некуда, месяцы шли, еды становилось все меньше, холод усиливался, и они вместе со старшей сестрой целыми днями лежали на кровати, тесно прижавшись друг к другу,

в единственной отапливаемой комнате в ожидании прихода мамы с работы. Семье очень повезло, что у них были дрова. У каждой квартиры во дворе был сарай, и дедушка еще летом заполнил его палками и чурками. Никто их не воровал.

К весне водопровод и канализация уже не работали. Воду брали из Невы, а нечистоты все жители дома сливали в огромную выкопанную во дворе яму. Летом 1942 года, когда худшее было уже позади, семье выделили участок земли на Марсовом поле — огромном лугу, где раньше проходили военные парады. Участок был недалеко от дома, и Романковы посадили овощи, но, когда пришла пора копать картошку, оказалось, что накануне ночью кто-то ее уже выкопал. Следующие три года были очень голодными, однако все выжили. Бабушку и дедушку самолетом эвакуировали в Москву, но бабушка успела научить их читать, да и мама всегда находила время для чтения. Когда после войны занятия в школе возобновились, близнецы далеко обогнали программу.

В начале шестидесятых, когда я с ними познакомилась, Люба и Леонид были учеными-физиками. Ши́ла — аспирантка из Глазго, с которой я жила в одной комнате в общежитии, — уже входила в их сплоченный дружеский круг. Новый 1962 год мы встречали далеко за городом, за пределами разрешенной для иностранцев 40-километровой зоны. «Сиверское, — писала я, вернувшись в Англию, — это большая деревня с беспорядочно расставленными домами, здесь есть колхоз и рынок за забором, а если перейти по льду озеро, выходишь к рядам дачек, окруженных небольшими садиками. Мы все сидели в одной комнате, курили и рассказывали анекдоты, пытаясь согреться. Две девушки — в черных свитерах и с сильно накрашенными глазами — имели более декадентский и западный вид, чем кто-либо из виденных мной раньше. Они сидели на кровати и от нечего делать листали польский журнал о кино... Напряжения в электрической сети едва хватало на то, чтобы горели лампочки, играл магнитофон и вращалась елка, каждые полчаса все отключалось. Мы умирали с голоду, ожидая двенадцати. На пятнадцать человек у нас было одиннадцать бутылок шампанского, семь водки и десять вина. В полночь по радио пробили кремлевские куранты, мы выпили шампанского, елка бешено вертелась. Включив джаз

на полную громкость, мы открыли водку, выставили на стол колбасу, горячую картошку и маринованные огурцы. Все очень быстро напились и танцевали как сумасшедшие. Кто-то швырнул волейбольный мяч прямо в окно. У одной из девушек было больное сердце, с ней случилась истерика, когда она увидела, что ее парень целуется в коридоре с другой, и ее пришлось уложить в постель. Я опьянела сильнее, чем когда-либо в жизни, и вышла на улицу, где меня стошнило, после чего я заснула на одном из диванов. Кто-то пошел спать, кто-то нет.

Однако в десять утра все уже бодро играли в волейбол, парни купались в снегу. Пустые бутылки собрали и обменяли в деревне на красное вино и водку, и на завтрак была водка с чаем. Я чувствовала себя ужасно. Мы с Бобом пошли прогуляться по деревне и оказались в пивной. Он, без видимой причины, чуть было не сцепился с двумя мужиками. В пятнадцать лет он подрался с тремя милиционерами у кинотеатра «Великан», сломал запястье одному и челюсть другому. Второй, к несчастью, еще и проглотил свой свисток. Бобу удалось избежать длительного заключения только потому, что его мать была старым членом партии и врачом — она представила медицинское свидетельство, что пятнадцатилетний мальчик не мог нанести таких увечий, и подкупила судей. Да и другие не избежали неприятностей с милицией. Витя Римский-Корсаков, маленький и юркий, целью жизни которого было выглядеть как Энтони Иден (однажды он увидел его фотографию в белом смокинге и с тех пор не мог прийти в себя), попросил мужчину в телефонной будке побыстрее заканчивать. Когда мужчина вышел, то ударил Витю, который, естественно, ударил в ответ. Собралась толпа, приехала милиция, и мужчина обвинил Витю в том, что он оскорбил его, еврея. Это разъярило Витю, ведь он был одним из немногих, кто никогда не рассказывал даже анекдотов про евреев...»

Мой дневник и мои рассказы о друзьях Эльмара могут создать впечатление, что основными занятиями того поколения были выпивка и шумное веселье. Конечно, это не так. Все они занимались исследовательской или преподавательской работой в разных областях, но я ничего не понимала в естественных науках и в их работе. Они интересовались Западом — абстрактным искусством, Хемингуэем, Селинджером, но не политикой.

Люба и Леонид серьезно занимались спортом, к тому же Люба увлеклась балетом. Когда семнадцатилетний Рудольф Нуриев поступил в 1955 году в балетную школу, его педагог Александр Пушкин с женой приютили его и хотели, чтобы у него появились друзья. Они и попросили родителей Романковых познакомить его с близнецами. В результате у Романковых он чувствовал себя как дома. Летом 1961 года Нуриев убежал на Запад, и в 1962 году этот побег еще был у всех на устах. Когда мы вернулись в Англию летом 1962-го, Шила привезла Рудольфу в подарок от Пушкина большую мягкую игрушку. Мы принесли ее к служебному входу театра вместе с запиской. Много лет спустя Люба рассказала мне, что Нуриев изредка звонил жене Пушкина, она не боялась с ним разговаривать и иногда предупреждала Любу о его предстоящем звонке. Но, по словам Любы, беседа теряла смысл, так как говорить откровенно было невозможно. В следующий раз они увиделись только в 1987 году.

В начале шестидесятых большинство моих знакомых искренне верили, что советское государство впереди планеты всей в бесплатном медицинском обслуживании, образовании, отсутствии безработицы и что цель внешней политики его руководителей — борьба за мир и помощь отсталым странам. Подавляющая часть советских студентов 1950–1960-х годов разделяла убеждение, что, несмотря на все свои недостатки, социальный и политический строй в СССР «более прогрессивен», чем на Западе. Сталинские времена остались в прошлом. Запад был странным, экзотическим местом, куда они хотели бы съездить, но не был примером для подражания. Практически никто не протестовал, пусть даже молча, против вторжения в Венгрию. Студенты из Восточной Германии провели собрание, где единогласно признали строительство Берлинской стены необходимой мерой. Это было время, когда очень серьезно относились к шпионам и секретным агентам, время, когда молодежь считала, что у страны есть будущее, причем совсем другое, лучшее будущее. Никто из моих новых друзей, двадцатилетних русских, не принимал всерьез обещаний Хрущева построить коммунизм к 1980 году, но все считали вполне реальным повысить уровень жизни и устроить ее иначе. Никто, конечно, не ожидал сиюминутных изменений. Все понимали, что некоторые вещи, такие

как свободные поездки на Запад — дело далекого будущего. Но когда в 1961 году — после принятия новой Программы коммунистической партии, обещавшей построение коммунизма к 1980 году, — во время лыжной прогулки по заснеженному лесу я сказала Эльмару: «Ну, по крайней мере, при коммунизме ты сможешь увидеть весь мир!» — я всего лишь пошутила. Это не могло случиться *так* нескоро. Гагарин полетел в космос, студенты в восторге кричали «Ура!» и размахивали простынями из окон общежития.

Теперь самое время рассказать о тех, кто приехал в Ленинград учиться из разных уголков Советского Союза и из-за границы. Как я оказалась там в 1961 году?

Глава 2

ДЕТИ СТАЛИНА: ЗАЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Россией я заинтересовалась еще в школе, когда изучала русскую историю и литературу. Меня всегда привлекали радикалы — всех времен и народов, а русские революции 1905 и 1917 годов волновали меня даже больше, чем французская революция. На собеседовании при поступлении в Оксфорд я рассказала об этом, и за годы учебы мой интерес не угас, но теперь меня больше интриговало советское настоящее. Литература по этой теме практически отсутствовала. Американские учебники рассказывали об обществе терроризируемых людей с «промытыми мозгами», а в советской печати люди-братья работали, танцевали и повышали свой образовательный уровень. Обе версии казались мне крайне сомнительными, но я понимала, что, находясь в Оксфорде, невозможно узнать, как обстоят дела в действительности.

Годы моей учебы совпали со временем появления в Великобритании политического направления «новых левых» — широкой коалиции интеллектуалов-социалистов разных поколений и убеждений: некоторые были марксистами, некоторые нет, но всех их объединяла идея создания демократического социалистического порядка вместо существующих западного капитализма и восточного коммунизма. Секретный доклад Хрущева в феврале 1956 года с разоблачением культа личности Сталина, а также восстания в Польше и Венгрии, случившиеся позже в том же году, показали необходимость новых подходов и коренных изменений. Но что же представляли собой советское общество и политический строй в СССР? Из первой поездки в 1959 году я вернулась совершенно сбитой с толку. «Я надеялась, — писала я, — найти ответы на свои вопросы, но это оказалось невозможно. Если бы я могла говорить по-русски!» Купив самоучитель

русского языка и договорившись с другом-филологом об уроках (раз в неделю, за бутылку виски за семестр), я научилась читать по-русски. Мне казалось ясным, что западный капитализм, так же как и советский коммунизм, дискредитировали себя, а о югославском строе я никак не могла составить собственного мнения. Может быть, Югославия, с ее рабочими советами, нашла путь, который позволит положить конец разобщенности, бюрократизму и иерархической системе власти? В 1960 году мне представился случай выяснить это — в югославском консульстве я познакомилась с сербским инженером, который дал мне адрес своих родителей в Белграде. Мы с другом автостопом добрались через Италию до Греции, где он остался осматривать афонские монастыри, а я поехала дальше — на заводы Белграда. За сливовицей и турецким кофе я обсуждала промышленное производство и рабочие советы с их представителями, делая заметки и составляя план посещения заводов. Теперь я знала, на какой вопрос ищу ответ — был ли прав Маркс, когда говорил, что тип собственности на средства производства определяет характер социального и политического устройства? Изучу способы решения трудовых споров в России и тогда все пойму.

В 1959-м Британский совет и Министерство высшего образования СССР договорились об организации десятимесячных стажировок для аспирантов. В своем заявлении в 1960 году я написала, что хочу стажироваться «где-нибудь за Уралом», в чем мне, естественно, отказали: иностранцев направляли только в Москву или Ленинград. А еще мне было нужно прочесть побольше литературы по теме и получше выучить русский. В надежде найти научного руководителя я обратилась в колледж Святого Антония в Оксфорде, где можно было найти специалистов по России и куда я студенткой в конце пятидесятых ходила на вечерние семинары. Тогда я мало что вынесла из обсуждений пожилых эмигрантов с английскими учеными, которые, как я узнала через много лет, сотрудничали со службой безопасности, и теперь не расстроилась, когда мне отказали на том основании, что я женщина. Все равно никто там не мог стать научным руководителем аспирантки, пишущей диссертацию о трудовых спорах в СССР. Я осталась в Соммервил-колледже, в качестве научного руководителя мне назначили Хью Клегга — специалиста по

трудовым отношениям из Наффилд-колледжа. К 1964 году, когда в аспирантуру колледжа Святого Антония пришла Шейла Фицпатрик*, политика там изменилась, но Шейла все же называла его «шпионским колледжем». Год спустя меня пригласили туда рассказать о своих исследованиях в Ленинграде. Хью Клегг пришел и сел в первом ряду, и я почувствовала, как заволновалась аудитория. Причину этого я не поняла ни тогда, ни позже, когда услышала, как один из постоянных слушателей сказал другому: «Он *точно* был членом коммунистической партии».

В 1961 году меня приняли в программу обмена Британского совета. К этому моменту я определилась с темой диссертации, могла читать по-русски и начала изучать литературу по теме. В сентябре 1961-го я упаковала в большой металлический сундук всю свою одежду, старую мамину шубу, огромную банку растворимого кофе и годовой запас Тамрах и, вместе с другими аспирантами, на элитном советском круизном лайнере «Балтика» отправилась из Тильбюри в Ленинград.

МЫТНЯ

В общежитии на берегу Невы, известном как Мытня, с 1920-х годов жили студенты со всей России, из Средней Азии и с Кавказа. Место было завидное — великолепный вид на Зимний дворец, недалеко главное здание Ленинградского университета, где размещались гуманитарные факультеты, библиотека и столовая, Академия наук с ее библиотекой. Читая мемуары о первых годах существования общежития, я встречаю людей и проблемы, знакомые мне по началу шестидесятых: аполитичных студентов, скучающих по далекому дому, и верных делу партии большевиков старшего возраста. К шестидесятым жизнь стала более спокойной, все до некоторой степени интересовались политикой, но такой преданности делу партии, как у коммунистов времен Гражданской войны, ни у кого из моих знакомых не было. Некоторые активисты организовывали субботники, но они не были моими друзьями и, как правило, не общались с западными

* Шейла Фицпатрик (англ. *Sheila Fitzpatrick*) — австралийский историк, специалист по истории СССР.

студентами. Молодежь из Восточной Европы начала появляться на Мытне в начале 1950-х, а в 1961-м, по начавшемуся культурному обмену, приехало несколько аспирантов из западных стран — десять из Америки, четверо из Англии и двое из Франции. Мы были единственными людьми «с запада» в целом городе. Через год американцев и европейцев переселили, уже по двое в комнате, в новое общежитие — кирпичное здание на дальнем конце Васильевского острова, где была горячая вода. Наши места на Мытне заняли вновь прибывшие студенты из Африки.

Холл общежития, вероятно, мало изменился с двадцатых годов: тяжелые гардины, массивные кресла, бронзовый купидон, огромное позолоченное зеркало и горшки с гигантскими фикусами. Всех поднимающихся по лестнице приветствовали белый бюст Ленина, красный плакат «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» и фотографии членов Политбюро. В общежитии посменно работали три вахтера, они записывали всех проходящих в книгу и выдавали почту из ящичков с номерами комнат. Еще в холле стояла телефонная будка, откуда за две копейки можно было позвонить, на этот телефон можно было звонить жильцам, но сообщат ли тебе о звонке, зависело от того, кто поднял трубку, — человек мог и не захотеть подниматься в твою комнату. После 22:30 посетителям находиться в здании запрещалось, а в час ночи тяжелые входные двери запирались. Проснется вахтер от стука в дверь или нет, было делом случая. Находчивые студенты лазили через окно первого этажа, но этот путь был открыт только весной и летом — с наступлением холодов мы затыкали ватой и заклеивали большие двойные окна своих комнат, оставляя только форточки для проветривания.

Нам с Шилой — единственным женщинам в программе обмена Британского Совета — выделили места в большой комнате на пятом этаже, с видом на реку. В ней было всего четыре кровати, а не шесть, как в большинстве других (больничные пружинные кровати с тонкими матрацами, белье меняли раз в две недели). Пол был выкрашен в бордовый, а стены — в белый и зеленый цвета. Дважды в год мы подновляли краску на полу. Мебель в комнате состояла из большого коричневого деревянного шкафа, тумбочек у каждой кровати, книжной полки, большого стола, обычно заставленного посудой, четырех стульев, на

которых мы развешивали чулки, и громадного зеркала. Да, еще на стене висело радио. В полночь радио, сыграв гимн и отзвеневав кремлевскими курантами, замолкало, и, если мы забывали его выключить, вновь оживало с той же музыкой в 6 утра. Когда это случалось, с кровати вскакивала разъяренная Шила и выключала его. А после заклейки окон возникала очередная проблема — закрывать форточку на ночь или нет? Никто не хотел уступать, и, бывало, среди ночи разыгрывались молчаливые драмы, когда враждующие стороны на цыпочках старались прокрасться к окну.

Туалеты были в чудовищном состоянии, а помыться можно было лишь изредка: горячую воду включали по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00. Обычно мы, как и большинство населения Ленинграда, мылись в общественных банях: в коммунальных квартирах и общежитиях условий для этого практически не было. А для мужчин поход в баню был еще и поводом выпить пива с друзьями. В бане, куда ходили мы с Шилой, был огромный гардероб для верхней одежды и обуви, касса, пивной бар и киоск, где торговали мылом, полотенцами и майками. Можно было купить билет в общий зал, в отдельные кабинеты, в душ, в парную и даже в парикмахерскую. В первой комнате общего зала стояли белые скамейки и висели зеркала — там все раздевались и оставляли одежду. Белье и тела огромных русских матерей семейств представляли собой незабываемое зрелище. Раздевшись и прихватив кусок мыла и мочалку, все входили через двойные двери в выложенную красной плиткой и полную пара святая святых. Здесь нужно было не зевать и захватить жестяную шайку, наполнить ее кипящей водой из крана, а потом занять место на белой мраморной скамье, чтобы начать ритуал намыливания и мытья. Все свято верили, что если намылиться с ног до головы пять раз, то ты будешь чище, чем если сделаешь это только дважды, и что отмыться меньше чем за 45 минут невозможно. (Гардеробщица могла выругать тебя за нечистоплотность, если ты слишком быстро выходила). После мытья все шли в парную, где с каждой полкой вверх жар усиливался (мне никогда не удавалось подняться выше второй), и хлестали друг друга березовыми вениками.

Несмотря на все старания, мы пахли. *Odorono* — единственный в то время в Англии дезодорант — не помогал: в комнатах

жарко топили, одежды у нас было мало, а мытье было роскошью. Живущие в коммуналках русские, у которых не было дезодорантов, пахли еще сильнее, а для молодых читателей отмечу, что в Англии чаще мыться стали только в 1970-х (так ведь?), и тогда вместе с появлением разных дезодорантов, стиральных машин и более доступной одежды запах тел постепенно исчез из нашей жизни. В Америке это случилось раньше. Уже в шестидесятых там пользовались дезодорантами, стиральными машинами и часто мылись. Помню, как я удивилась этому, когда впервые приехала в США.

В буфете общежития почти всегда можно было купить ржаной хлеб, бледные сосиски и яйца. Каждый этаж был оборудован кухней с газовыми плитами, где мы готовили и грели воду для мытья и стирки. (Где мы сушили одежду? Кажется, на батареях). Девушки и юноши жили на разных этажах, у некоторых женатых студентов были дети, разъезжавшие по широким коридорам на своих трехколесных велосипедах. И хотя нередко можно было встретить пьяного студента, карабкающегося вверх по лестнице мимо больших белых плевательниц и пепельниц, драки случались редко. Общежитие было безопасным местом, где жили дружелюбные люди.

В ту первую субботу мы ночевали в комнате вдвоем. В 6 утра приехала Вера, студентка последнего курса исторического факультета, так же удивленная нашим появлением, как и мы ее. Она вернулась из очередной автобусной поездки в Ригу — подрабатывала по выходным экскурсоводом. В эти дни она оставляла радио на ночь включенным, чтобы оно будило ее в 6 утра. Обычно радио будило только нас, а уже мы расталкивали Веру, и она начинала топтать по комнате — готовить завтрак для своего парня Вити, приходившего около семи. Проходила еще пара дней, Вера снова возвращалась, сразу же принималась готовить и ложилась только в восемь, чтобы поспать часа три. К этому моменту мы с Шилой уже полностью просыпались и кипели от возмущения. Многие русские обладают способностью спать, несмотря на шум и яркий свет. Наша четвертая соседка — Лиля — была исключительной соней, да и Веринуому сну не мешали ни три горящие лампочки без абажуров, ни включенное радио.

Лиля родилась в семье деревенского школьного учителя. Всего в семье было пятеро детей. Мама Лили, уборщица в больнице, была неграмотной и научилась читать и писать только после смерти мужа, чтобы переписываться с дочкой. У Лили было две страсти: сон и косметика. Весь последний год учебы в университете она проспала, пробуждаясь только к обеду, чтобы нанести толстый слой макияжа и, тщательно повязав на голову шарф, так что не было видно почти ничего, кроме глаз и губ, шла прогуляться по Невскому. Вернувшись, она жаловалась на отсутствие привлекательных мужчин (Лиля любила повторять фразу из книги Ильфа и Петрова, что в Рио-де-Жанейро все мужчины ходят в белых штанах), а потом, немного полистав журнал мод, снова ложилась спать. Лиля укладывала свои волосы «ульем». Она могла начать завиваться (непростая задача, для которой требовалось не меньше 45 минут стараний перед зеркалом) в два часа ночи. Чтобы не беспокоить нас, она накрывала настольную лампу полотенцем или шарфом — в результате на них оставались обожженные пятна. То, что ее фотографию вывесили на всеобщее обозрение после комсомольской проверки жалоб преподавателей на то, что студенты не приходят даже на вторую пару, начинавшуюся в 10 утра,нисколько ее не смутило. Время от времени комитет комсомола проверял чистоту комнат, выставлял оценки и делал замечания: «Товарищи, в комнате сплошное свинство! Наведите порядок! Нельзя выносить посуду из буфета!» Лиля училась на археолога и как-то умудрилась получить диплом и распределиться на работу в музей в далеком Душанбе, чему была очень рада, — из-за использования вредных реактивов рабочий день там длился всего четыре часа.

Жить с Лилей было легко — не так, как с Верой из Тамбова, ставшей моей ближайшей подругой. Ее семья чудом пережила войну. Родители были школьными учителями. В 1943 году отец вернулся с фронта практически слепым. Мать всю войну по двенадцать часов в день, шесть дней в неделю шила шинели. Старшую сестру, обессиленную от недоедания, отправили к бабушке и дедушке. Вера, которой в начале войны было три, целыми днями сидела дома одна, закутанная в пальто, и ждала, когда мама вернется с работы. В конце пятидесятых Вера

со второй попытки поступила в престижный Ленинградский университет. Темпераментная, самоуверенная, прирожденная школьная учительница, но воображавшая себя героиней романа, она могла сидеть до трех утра возле завешенной полотенцем лампы, готовясь к завтрашнему экзамену или сочиняя очередное двадцатистраничное «объяснение» Вите, жившему этажом выше. Мои попытки улучшить разговорный русский всегда поднимали ей настроение. В два часа ночи она могла попросить полусонным голосом: «Мэринька, скажи что-нибудь!», вызывая бурную реакцию Шилы и Лили. У нее был хороший голос, и она часто тренировалась, распевая перед зеркалом арии из «Кармен». Верино настроение постоянно менялось: то она была преисполнена надежд, то видела все в черном цвете, но по натуре оставалась оптимисткой. Как историка, ее ожидало распределение либо в деревенскую школу, либо «в удаленные районы», где больше платили. Выйдя замуж за Витю, Вера уехала с ним на Сахалин — остров у восточного побережья России. Через пять лет, уже с дочкой Ольгой от второго краткого брака, она вернулась в Тамбов.

В одной из соседних комнат, вместе с другой студенткой исторического факультета и двумя француженками, жила симпатичная Галина, которую все звали Белкой за карие глаза и каштановые волосы. Комната Дины с геранью Живкова находилась дальше по коридору.

Студенческое житье

Студенты получали 29 рублей стипендии, отличники, как Галина — 35. Прожить на них можно было, только питаясь в студенческой столовой или готовя самому — сосиски, картошку или капусту, изредка устраивая кутеж в дни рождения или праздники. Родители присылали посылки с консервами и маринованными грибами. Водка стоила дешево, из других алкогольных напитков продавался только ужасный портвейн и неплохое грузинское вино. В конце месяца вместо чая все переходили на кипяток с сахаром. Стипендии не хватало на обувь и одежду (да и в магазинах почти ничего не было — однажды Вера привезла мне из Риги пару лыжных ботинок), но можно было сходить в кино, театр и даже на балет. Проезд на

городском транспорте стоил дешево: 5 копеек за билет на автобус, 4 — на троллейбус, 3 — на трамвай. Зимой трамвайные стекла замерзали, стоять возле них было небезопасно — можно было примерзнуть, и все скапливались в переполненном проходе между сиденьями.

Студентам не оставалось ничего другого, кроме как подрабатывать. Кто-то работал ночами в трамвайном депо, однако большинство старались устроиться служащими. «Неужели ты и правда работала продавщицей, официанткой, мыла полы?» — недоверчиво спрашивали меня.

«Пытаться что-то купить в Советском Союзе — большая ошибка, — писала я в 1962 году. — А еще бóльшая ошибка — пытаться сделать это на Невском в воскресенье» (магазины закрывались по понедельникам, а не по воскресеньям). Широкие тротуары были запружены людьми: гуляющими, толстыми мороженщицами в ватниках и белых фартуках, продававшими эскимо на палочке, — иногда такое холодное, что примерзал язык, — продавцами лотерейных билетов, не обращавшими внимания на холод и снегопад в своих тулупах и огромных валенках с галошами. Зимой тележки с разноцветной фруктовой водой и продавцы книг исчезали, но торговки пирожками и чистильщики обуви перегораживали тротуар даже в самую ужасную погоду. В галереях Гостиного двора дореволюционной постройки, с его узкими коридорами и лестницами, терялись даже самые искушенные покупатели — магазины могли оказаться закрыты на обед в непредсказуемое время, и было совершенно непонятно, где что искать — кто бы мог подумать, что молнии лежат среди кошельков в отделе электротоваров?

Самые простые продукты — хлеб, чай, сыр, колбасу, консервы — можно было купить в магазине напротив общежития. Но на это требовалось немало времени: сначала выбираешь, что ты хочешь купить, потом узнаешь у продавца цену, выстаиваешь очередь в кассу, платишь, снова становишься в очередь, уже с чеком, и только потом получаешь желаемое. В сравнении с магазином рынка, где колхозники торговали мясом, творогом, квашеной капустой и медом, а приехавшие из Грузии и Средней Азии — фруктами, орехами и приправами, казались сказочной пещерой Аладдина, но бедным студентам они были не по

карману. К заборам рынков лепились будки сапожников. Мне с трудом удалось договориться с одним из них о починке сапог: он согласился только потому, что я была англичанкой. На большом листе бумаги он написал «Англия» и сунул его в мой сапог. Когда я в понедельник пришла забрать работу, будка оказалась заколоченной. Продавщица соседнего пивного киоска объяснила, что по понедельникам его обычно не бывает — приходит в себя после воскресных возлияний. И правда: уже во вторник мой сапожник, с бутылкой пива в руке, был на месте.

У нас, западных студентов, стипендия была в три раза больше. Мы могли покупать продукты на рынке, свинину в кафе за главным зданием Университета, молотый кофе в магазине на Невском, болгарские сигареты в кафе гостиницы «Астория», пить кофе в новом кафе «Север» на Невском. Но то же самое могли себе позволить и наши старшие друзья-ленинградцы — они уже были молодыми специалистами и, как правило, все еще жили с родителями. Питались они не хуже своих ровесников в Англии, хотя и по-другому. Дни рождения нередко отмечались в «Астории» или «Европейской» (двух самых дорогих гостиницах города), где гости за большим столом заказывали все больше и больше, пока не обнаруживали, что денег на оплату счета не хватает. Тогда кто-то из компании отпраивался домой, чтобы занять у родителей, а оставшиеся продолжали пировать. Много лет спустя, в девяностых, никто из моих друзей не мог себе позволить в этих гостиницах даже выпить чашку чая.

В 1960-х личные автомобили были редкостью, а иностранных машин не было вовсе. Единственный роллс-ройс в России, кроме автомобиля Ленина в музее, принадлежал сэру Франку Робертсу, английскому послу. В 1962 году он со своей женой приехал с визитом в Ленинград и пригласил английских студентов пообедать в «Астории» — лучшей гостинице того времени. По такому случаю шеф-повар приготовил торт с мороженым «Запеченная Аляска». Сэр Франк спросил нас: «Не хотите покататься на роллс-ройсе?» Только представьте себе! Мы с Шилой не заставили долго себя упрашивать, прыгнули в машину и сказали водителю, что хотим проехать по Невскому (разумеется). Мы махали руками, воображая себя членами королевской семьи, потом заехали за юбкой к портнихе в одну из маленьких улочек

и попросили медленно провезти нас вокруг общежития в надежде, что нас заметит кто-то из знакомых.

С британским посольством в Москве, да и вообще с кем-либо из Англии мы не общались. Только раз в год, на Рождество, нас приглашали в Москву пожить в семьях сотрудников посольства, и оттуда с центрального телеграфа мы могли, купив заранее талон, на три минуты позвонить домой. Телефонной связи между Ленинградом и Англией не существовало, но в экстренных случаях с центрального телеграфа можно было послать телеграмму. Письма шли примерно неделю, но их всегда вскрывали и снова небрежно заклеивали.

Что мы с собой привозили? Женщины — Тамрах. В России в начале 1960-х женских прокладок не было. Я захватила с собой вязание и научила вязать Веру. Можно было купить немецкий журнал *Burda*. Мама прислала мне еще шерсти. Вера научилась отлично вязать и, когда в продаже начала появляться разная пряжа, придумывала и вязала очень красивые кофточки. Мы могли получать английские журналы — «Экономист» и «Панч», где публиковались очень смешившие нас карикатуры на Хрущева. Этим наши возможности читать западную прессу и ограничивались. Домой мы везли меховые шапки, пластинки, фотоаппараты, книги — в антикварном книжном на Литейном я купила карту Санкт-Петербурга 1914 года. И, да! Еще черную икру, стоила она до смешного дешево.

Одежда. Не скажу, что у студентов из западных стран было больше одежды, но она была ярче и разнообразнее, чем у наших российских друзей в то время. Неудивительно, что девушки так интересовались модными журналами, польскими и венгерскими, и стремились поехать за покупками в Латвию, Литву и Эстонию. Было грустно, что если шуба была тебе не по карману, то оставался выбор только из пяти расцветок зимних пальто — коричневой, черной, темно-бордовой, темно-синей и темно-зеленой. Одежда была очень однообразной. Контраст между костюмами балерин в Кировском театре и пальто, которые после спектакля забирала в гардеробе публика, поражал, и окружающий мир казался еще тусклее.

Через несколько месяцев и у меня, и у Шилы появились свои компании друзей — ленинградцев и приезжих, — с которыми

мы проводили почти все свободное время. С друзьями из общежития я посмотрела самые популярные спектакли и концерты начала шестидесятых. Мы аплодировали Аркадию Райкину — блестящему юмористу, мастеру сценического перевоплощения, сатирически высмеивавшему нелепости современной жизни и советских бюрократов. Мы с Шилой пришли в восторг, когда сотрудник МИДа попросил нас помочь Райкину с переводом на встрече с английским театральным агентом. Мы восхищались его способностью, не зная английского, запоминать и повторять фразы. К сожалению, когда он, по приглашению Би-Би-Си, в 1965 году приехал в Лондон для участия в телепередаче, мы обе были в Глазго. Самыми популярными у студентов, и не только студентов, в то время были спектакли Николая Акимова, главного режиссера Театра Комедии на Невском. Он ставил пьесы, которые раньше запретили бы, и раздавал студентам бесплатные билеты на генеральные репетиции. Самой нашумевшей в то время была, пожалуй, пьеса «Дракон» Евгения Шварца — о порабощенных драконом горожанах, выплачивающих ему дань молодыми девушками. Еще Акимов поставил байроновского «Дон Жуана» и, когда занавес опустился, пригласил на сцену пожилую женщину, которая, сидя в одиночной камере, по памяти перевела поэму Байрона на русский. Эту женщину звали Татьяна Гнедич. Мы аплодировали почти каждой строчке. Акимов обожал хорошеньких девушек и стал приглашать Галину на свои мероприятия и вечеринки. В 1963 году в одном из традиционных театров поставили знаменитый русский классический спектакль «Горе от ума» в современных костюмах — слегка завуалированный намек на современных политиков. В кино иногда показывали дублированные английские фильмы. Перед сеансом «Добрых сердец и корон» по громкоговорителю в зале сделали короткое объявление — зрителей предупреждали, что хоть фильм и смешной, но нельзя забывать об угнетенных капиталистами классах. Объявление дружно освистали.

Ленинград был полон чудес. Зимой Нева замерзала, а по льду змеилась протоптанная дорожка на другой берег, к Эрмитажу. Весной река вскрывалась, и с Ладоги мимо окон общежития с оглушительным треском плыли, наползая друг на друга, массы льда. Лед и снег с грохотом обрушивались с крыш на мостовую

по водосточным трубам. В белые июньские ночи мы, бывало, до утра гуляли по набережным и смотрели, как разводят мосты. За кладбищами, даже в Александро-Невской лавре, где похоронены многие известные люди, никто не следил — они находились в запустении. На Смоленском кладбище среди заросших могил под березами играли дети. Электричкой можно было легко добраться до великолепных пригородных царских усадеб — в Пушкине, Павловске и Петергофе, — разрушенных во время войны, но частично восстановленных в 1960-е.

Легко ли быть англичанкой?

Когда кто-то заболел, соседи по комнате звонили в медпункт, и приходил крепенький доктор небольшого роста, весь в белом, осматривал больного и выписывал рецепт, по которому в аптеке покупали лекарства. В начале весны мы все слегли с гриппом. Тогда-то Лёва со знакомым врачом и привезли меня в «Свердловку» — больницу для старых большевиков, где меня лечили грелками, клали на лицо мешочки с песком, а я изо всех сил старалась не показаться «чопорной англичанкой». Наверное, здесь нужно кое-что объяснить. У Чехова есть короткий рассказ «Дочь Альбиона» — про раздражительного русского помещика, который весь день напролет безуспешно ловит в реке рыбу. Рядом с ним удит англичанка — гувернантка его детей, которую он ненавидит. Гувернантка ни слова не говорит по-русски и упорно отказывается понимать все его просьбы отвернуться, когда ему надо раздеться и, в костюме Адама, залезть в воду, чтобы отцепить запутавшуюся леску. В разговоре с подъехавшим соседом помещик называет гувернантку кикиморой, тритоном, говорит, что у нее «нос точно у ястреба»... Слово «чопорная» Чехов не употребляет, но для многих поколений школьников этот образ стал воплощением жеманной, чопорной англичанки. Я прочла «Дочь Альбиона» совсем недавно. «Вот и к лучшему, — решила я. — Мысль об Уильке Чарльзовне Тфайс заставила бы меня десять раз подумать, прежде чем поехать с русскими друзьями на рыбалку».

Свою стипендию я хранила в картонной коробке. Однажды ее украли, у Веры тоже пропало десять рублей. Злая

и расстроенная Вера вызвала милицию. «А собаку почему не привели?» — упрекнула она двух милиционеров, которые пришли и забрали мою коробку. Через несколько дней меня повесткой вызвали в милицию, но не для того чтобы рассказать, как идет расследование, а потому что меня «хотел видеть начальник отдела уголовного розыска». Инспектор проводил меня в какой-то кабинет и гордо представил: «Это — Мэри». Не знаю, был ли кто-то из двух поднявшихся с поклоном мне навстречу мужчин сотрудником уголовного розыска, или оба они были из КГБ. Около двух часов мы с ними говорили о Чехове, русском характере, преступности, английской полиции и моей диссертации. Мужчина постарше объяснил мне, что хотел встретиться со мной по двум причинам: во-первых, чтобы попросить (что он сделал очень вежливо) не рассказывать о краже журналистам, и во-вторых, потому что он никогда не встречался с англичанами. Через полтора часа разговора он признался, что всегда считал англичан чопорными, но я совсем не такая. Я устало улыбнулась в ответ. Сколько раз я уже слышала это от разных людей, и каждый думал, что говорит мне это первым... Наконец, когда я уже чуть не падала со стула от усталости, разговор закончился на оптимистической ноте — при коммунизме преступность исчезнет и, как мы со смехом отметили, милиционеры станут безработными. Я надеялась, что обратно поеду в «воронке», но, увы, мне предоставили желтую «Волгу» с водителем. Иностраный отдел вернул мне деньги, а я отдала десять рублей Вере.

Чопорная. Хммм... перенесемся на пятьдесят лет вперед. Мы с одной русской знакомой, энергичной правозащитницей, ехали по Москве на такси. Она опаздывала на встречу и с заднего сиденья постоянно указывала водителю, куда и как ехать, обращаясь к нему, на мой взгляд, очень высокомерно. Я сидела рядом с шофером и старалась разрядить обстановку благожелательными и дружелюбными замечаниями. Подруга вышла первой, и, когда мы остались одни, водитель спросил: «А вы откуда?». — «Из Англии», — ответила я. «Так я и думал — чопорная англичанка», — бросил он.

Но бывало и по-другому. Когда я в 1962 году сидела над делами в кабинете районного суда, ко мне иногда обращались люди, которые не могли разобрать почерк судьи в своих документах.

Однажды со мной заговорил грузный мужчина — упавший с его грузовика снег повредил другую машину:

— Девушка, вы мне не поможете? Ничего не могу здесь разобрать.

— Извините, — сказала я, — но я англичанка.

— Ну и что? — раздраженно спросил он. — Вы что, читать не умеете?

Наконец-то меня приняли за свою! Я была счастлива и постаралась помочь ему как могла.

Но, конечно, «своей» я не была, и это прекрасно понимали и мы, иностранные студенты, и наши друзья и коллеги.

КГБ

Официально иностранным студентам не разрешалось уезжать дальше, чем за 40 километров от города. В большинстве случаев я придерживалась этого правила. Мы были в курсе, что наши передвижения отслеживались, а все знакомства были известны. Мы также понимали, что в кругу нашего общения появлялись русские, в чьи задачи входило познакомиться с нами и докладывать о наших действиях. В одной компании мы не говорили о своих знакомых из другой. Чем меньше человек знал о других, тем меньше ему пришлось бы скрывать в случае допроса.

Эльмар находился под надзором КГБ. Возможно, в какой-то мере его защищала репутация отца. Время от времени его приглашали для беседы, о чем он предупреждал меня заранее. Он всегда опаздывал примерно на полчаса (несмотря на то что его часы были поставлены на полчаса вперед), но в тот раз прошло уже больше часа с момента, как он должен был вернуться. Мое беспокойство нарастало, и, чувствуя, что седею на глазах, я каждые десять минут подбегала к зеркалу. Как выяснилось, в это время Эльмар просто стоял в какой-то очереди.

На всякий случай — вдруг эта информация была у КГБ — я рассказала Эльмару неприятную историю о своих «связях» с МИ-6. В 1959 году, когда в Оксфорд на учебу приехали два первых аспиранта из Советского Союза, девушка и юноша (девушку направили в Сомервилл-колледж), моя

подруга-однокурсница, изучавшая русский, получила письмо из Военного министерства с предложением переговорить с ней «об одном деле». Мы все были заинтригованы, а когда узнали, что такое же письмо получил студент одного из мужских колледжей, предположили, что речь идет о советских аспирантах. Моя подруга уезжала в Америку и предложила мне сходить на встречу вместо нее. Я согласилась. В назначенный день из Лондона приехала женщина. Походив вокруг да около, она объяснила, что британское правительство интересуется, каких советских студентов выбирают для обучения за границей. Не могла бы я иногда встречаться с представителем Военного министерства и передавать информацию о «нашей советской подруге»? Я испытала смешанные чувства. То, что МИ-6 пользуется услугами информаторов, меня не удивило, и брать на себя эту роль мне совершенно не хотелось, но, с другой стороны, откажись я, Военное министерство найдет кого-то другого. Лучше, решила я, согласиться и ничего не делать. Я была столь наивна, что заявила, что, разумеется, не буду рассказывать ничего, что мне говорят по секрету.

Когда Галина приехала, я пригласила ее на чашку кофе и очень скоро поняла, что попала в безвыходное положение. Мне бы хотелось попрактиковать с ней русский язык, но я чувствовала себя настолько скованно, что не предприняла никаких попыток продолжить знакомство. Если бы Джордж Одли из Военного министерства, который каждый семестр приглашал меня то на обед в Ройбак, то на чай в Фуллерс, интересовался Галиной, то сразу бы понял, что я о ней почти ничего не знаю. Однако его, к моему удивлению, гораздо больше интересовало мое мнение и мнение моих однокашников о текущих событиях. Мне доставляло большое удовольствие объяснять агенту МИ-6 (как я думала), почему необходимо искоренить атомное оружие. И только перед уходом он спрашивал: «А как наша советская подруга?» Я отделялась какими-то общими фразами. В конце года Галина уехала, и из Военного министерства больше ко мне не обращались.

Через три года я с изумлением узнала от знакомого дипломата, что Джордж Одли был не кем иным, как Джорджем Блейком, посаженным на 42 года в тюрьму как двойной советский агент.

На фотографиях в газетах трудно было уловить какое-то сходство со знакомым мне мужчиной. В 1966 году он сбежал и оказался в Москве, а британское телевидение впервые рассказало об этом только в 2016-м — показали очень старого и грузного Джорджа Одли на заснеженной дорожке возле его дачи.

Некоторыми английскими и американскими студентами, приезжавшими в Ленинград в начале шестидесятых, интересовался КГБ. Обычно они получали угрозы (что-то случится с вашими советскими друзьями) или заманчивые предложения (посещение запасников Эрмитажа), но что конкретно нужно делать, было неясно, по крайней мере в известных мне случаях. Ко мне подобного интереса не проявляли — не знаю почему.

Много лет спустя в гардеробе Центрального Дома литераторов я встретила элегантного седого мужчину в летной форме, лицо которого показалось мне знакомым. И вдруг меня осенило: это Юрий, преподаватель английского из Военно-космической академии, с которым мы познакомились в 1961 году. У него тогда была машина, и он приглашал меня в квартиру своих родителей — актеров, где мы, плотно зашторив окна, слушали грампластинки на 78 оборотов с танцевальной музыкой тридцатых годов и ели пирожные с кремом. Две пластинки он подарил мне — «Вы не суйтесь, самураи» и «Мой пулемет». Он печально смотрел на меня и предлагал «поехать подальше в лес, где так тихо и спокойно». Особого восторга это предложение у меня не вызывало, но, с другой стороны, съездить за город на машине было бы здорово. Больше ни у кого из моих знакомых машин не было. Я согласилась с условием, что с нами поедет подруга Шила, и одним весенним воскресным утром мы поехали. Но вместо леса он привез нас в приграничную Лугу, далеко за пределами разрешенной для иностранцев зоны. Через несколько дней Шилу вызвали в КГБ и поинтересовались, была ли поездка в Лугу запланированной. На второй встрече она сообщила «товарищу» (никто никогда не представлялся), что все рассказала мне, и он ответил, что поговорит со мной. Через несколько дней мне передали, что в иностранном отделе университета меня ждет «товарищ из визового отдела». На встрече мужчина средних лет вяло отчитал меня за выезд из разрешенной зоны, а в заключение сказал, что если мне понадобится какая-то помощь,

я могу обратиться к нему. Я все рассказала Юрию, и после этого мы практически не виделись. И вот опять он собственной персоной — как обычно увивается вокруг женщины, в руках букет красных гвоздик, то и дело смотрит на себя в зеркало.

С Сергеем, которого, как я узнала позже, КГБ использовал для сбора информации об иностранцах, все было совсем по-другому. 7 ноября 1961 года мы с Верой пошли на демонстрацию на Дворцовой площади, где с трибун на проходящие колонны взирали безымянные и безликие партийные руководители в пальто и мягких фетровых шляпах. Мои знакомые студенты из общежития ходили туда по двум причинам: во-первых, так было принято, а во-вторых, для провинциалов демонстрация была событием, которое нельзя пропустить. Вечером того же дня мы сидели у окна и смотрели салют над Зимним дворцом, когда в небе вдруг появился сверкающий портрет Ленина — я не поверила своим глазам и, потрясенная, расплакалась. Накануне Сергей — худощавый парень в потрепанной одежде, с запавшими щеками и металлическими зубами, иногда приходивший ко мне в общежитие, чтобы взять почитать книги на английском, — пригласил меня на Кировский завод на праздничное мероприятие. Я с радостью и волнением согласилась — темой моей диссертации были трудовые отношения, а Кировский завод (до революции — известный Путиловский) был самым большим в городе. Не знаю, чего конкретно я ожидала. На вечер в просторном зале пригласили всех рабочих цеха, где Сергей работал токарем. Собравшиеся чинно танцевали вальс, пили лимонад, ели пирожные, участвовали в викторине, которую Сергей выиграл. Когда вечер закончился, мы вышли и уселись на скамейке в парке. Было темно, и я все больше замерзала, а Сергей рассказывал, как в 1956 году его, студента, арестовали и на три года сослали в лагерь за то, что на студенческом собрании после секретного доклада Хрущева он процитировал: «Прогнило что-то в Датском королевстве». Он говорил о лагере и о других арестованных. Весь следующий день у меня было тяжело на душе, и я безуспешно пыталась понять, как лагерный мир может сосуществовать с празднованиями и демонстрациями, в которых беззаботно участвует так много людей, в том числе и я. Наши пути с Сергеем разошлись. По-моему, в общежитии он больше

не появлялся. До сих пор не могу понять, зачем он позвал меня на заводской вечер и по чьей инициативе. Должен ли он был рассказать мне свою лагерную историю?

В 1963-м, получив несколько отказов в ответ на просьбы разрешить мне пойти в поход с Лёвой и его женой Валею в Псковскую область, я спросила, могу ли обратиться к «товарищу, который обещал помочь, если у меня будут сложности». Это был чистый блеф, мне просто хотелось позлить сотрудника иностранного отдела. Но он спокойно посмотрел на меня и ответил: «К сожалению, нет, Мэри. Этот товарищ умер. Видите, как сложно работать с иностранцами».

В те годы мы ездили в Прибалтику, Новгород и Псков, в Москву, на юг к Черному морю, в Одессу и Ялту, в Грузию, Ташкент, Бухару и Самарканд, но всегда в составе группы и всегда оставались только в гостиницах «Интурист». Урал и Сибирь оставались вне зоны досягаемости, и путешествовать самостоятельно с рюкзаком за плечами могли лишь мои русские друзья. Эльмар писал о байдарочных походах по бурным рекам и жизни в палаточных лагерях в северных лесах, Володя — о встреченной в сибирской тайге медведице с медвежатами, близнецы ездили в археологическую экспедицию и спортивный лагерь на Кавказе. Вера уехала на Сахалин. Я им завидовала.

Снова на Мытню и дальше — в Гавань

То было время более открытых, чем когда-либо за последние тридцать лет, обсуждения, разговоры велись даже на запрещенные темы. В общезнании мы следили за разоблачениями XXII Съезда, на котором Хрущев поднял тему сталинских репрессий, читали статьи, лагерные истории, списки реабилитированных, с друзьями-ленинградцами пели песни Окуджавы и, когда были вне имеющих уши стен, рассказывали политические анекдоты. Иногда обсуждали последние события с друзьями по общезнанию. Однажды Вера заявила, что, если бы ее попросили рекомендовать кого-нибудь в партию, она бы предложила меня — ведь я так ответственно подхожу к своим исследованиям. Повисла неловкая пауза. Первое время многие отказывались верить, что Сталинград переименован, и неоднозначно относились к выносу

тела Сталина из мавзолея. Но у большинства студентов не было ни малейшего желания заниматься политикой, всем было абсолютно ясно, что это слишком рискованно. Когда одного студента с Дальнего Востока исключили из университета за неосторожные критические высказывания, все сошлись во мнении, что он просто сглупил.

Весной 1963 года в Публичной библиотеке я прочла «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Нужно было заказать у библиотекаря журнал «Новый мир», расписаться за него и читать, сидя за столом перед стойкой выдачи. Бледно-голубая обложка журнала была грязной, а почерневшие по краям страницы с повестью выделяли ее из остального содержания и придавали вид исторической хроники. К тому времени все мои друзья из общежития, кроме Галины, получили дипломы и разъехались, и, вернувшись в Ленинград из Англии еще на полгода в декабре 1962-го, я поселилась в новом аспирантском общежитии в Гавани, в западной части Васильевского острова.

Наши комнаты на Мытне заняли первые африканские студенты, приехавшие учиться в Ленинград из Нигерии, Мозамбика, Танзании. Исключение было сделано только для племянника Патриса Лумумбы, который жил в отдельной комнате в аспирантском общежитии, но никто с ним не дружил — слишком уж он важничал. К сожалению, отношения между африканцами и русскими в общежитии не сложились. Русские были поражены тем, что африканцы были хорошо одеты и выглядели как «люди с запада». Их стипендия, как и у всех западных студентов, была в три-четыре раза выше, они считали, что условия в общежитии гораздо хуже, чем у них на родине, жаловались на еду и требовали, чтобы их поселили отдельно от русских. В конце концов, они даже создали комитет и провели собрание, чтобы сформулировать свои требования. Многие из них следовали правилам, но на каникулы ездили в Париж или Лондон. Русские вначале недоумевали, потом придумывали объяснения («они, наверное, дети очень богатых африканцев» — что иногда, возможно, и было правдой), а под конец стали откровенными расистами. Я поняла, что, по крайней мере частично, разделяю культурный багаж с англоговорящими африканцами. Нигерийцы, кажется, пытались поговорить со мной о крикете, просили дать почитать

какие-нибудь английские газеты и «Экономист». Русские студенты были озадачены. Так значит, меня все-таки нужно причислять к угнетателям? С одной стороны, я была рада, что упрощенная картина империализма наконец-то выплыла наружу, но, с другой стороны, испытала неловкость, поняв, что мне было проще установить простые дружеские отношения с африканцами в Ленинграде, чем в Англии.

Глава 3

ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

В НАЧАЛЕ 1960-х

Кроме Эльмара и изредка Лёвы, никто почти никогда не говорил о политике, даже в теоретическом плане. Сталинские лагеря и репрессии обсуждались, но вопросы, не дававшие покоя нам на Западе, — были ли правы меньшевики или Троцкий, появился ли новый класс, как двигаться дальше, как бороться с системой привилегий, — просто-напросто не поднимались. Факультетов социологии и политических наук не существовало. Так как темой моей работы были трудовые споры на предприятиях, меня направили на кафедру трудового права юридического факультета, размещавшуюся в Смольном, рядом с обкомом партии и синевелым зданием Смольного собора.

В начале сентября я, еще плохо говорившая по-русски, села в автобус № 7, нашла нужный дом, с трудом сумела сдать пальто в гардероб и, в волнении, направилась в деканат. Декан лично провел меня извилистыми коридорами до кафедры трудового права и передал с рук на руки заведующему. Мое неожиданное появление в разгар заседания кафедры, которое, как я потом узнала, могло продолжаться часами, было встречено с настороженным удивлением. Я села на стул и непонимающе улыбалась в течение часа. Затем воцарилась тишина, и один из преподавателей сказал, обратившись ко мне: «Расскажите нам, пожалуйста, об английском праве». На ломаном русском я постаралась объяснить, что я не юрист. Мне повезло попасть на кафедру, где преподаватели работали над улучшением Кодекса законов о труде, усилением роли профсоюзов и судов — в те годы подобные темы уже входили в политическую повестку дня. Студенты-юристы обычно стажировались и собирали информацию на заводах, в судах и прокуратуре. Моя тема была ясна, и мой руководитель, Александр Степанович Пашков,

относился ко мне точно так же, как и к другим аспирантам: я должна была изучать юридическую литературу, а затем проходить практику в судах и на заводах.

Я узнала, как работает и ведет коллективные проекты маленькая кафедра, состоящая из пяти преподавателей и трех аспирантов. В преддверии очередного съезда партии мы, к примеру, исследовали незаконное введение сверхурочной работы на предприятиях Ленинграда. Я понемногу привыкала к длиннейшим заседаниям, где обсуждалось расписание занятий, недавно вышедший закон или работа сотрудников. Мы говорили о новой программе партии, и Пашков отшучивался в ответ на мои сомнения в том, что в СССР за двадцать лет реально преодолеть различия между городом и деревней, умственным и физическим трудом, но подробно эти темы не обсуждались. Для публичных дискуссий существовали определенные правила, и я знала, что даже в частной беседе со мной он будет обязан защищать партийную линию. Это не сказывалось на наших рабочих взаимоотношениях, так же как и мое присутствие никак не влияло на ход заседаний кафедры. Что потом говорилось на партсобраниях или докладывалось в международный отдел — уже другое дело.

Чтобы улучшить свой русский, мы с другим британским студентом, Барри, ходили на занятия по русскому языку. Наш путь лежал через мост, мимо Центрального военно-морского музея, Кунсткамеры, Академии наук и главного здания Университета, на факультет филологии, где мы практиковались в разговорной речи, написании сочинений, чтении и фонетике. Фонетикой мы занимались по учебнику, написанному для китайцев. Мне было очень тяжело. Пожилая учительница фонетики хвалила Барри за хорошее произношение, а меня три месяца заставляла повторять одно и то же первое четверостишие стихотворения Лермонтова. Но на занятиях по литературе, где нужно было за неделю прочесть роман и пересказать сюжет, я брала реванш. Кто-то научил меня, как это делать: «Читай последний абзац на каждой десятой странице и сможешь следить за развитием сюжета». Как ни странно, это работало. К нам постоянно обращались разные люди, ведь мы были единственными носителями английского в городе. «Не могли бы вы, — попросила меня пожилая женщина-филолог, — сделать магнитофонную

запись?» Я нехотя согласилась и оказалась сидящей в кабинке перед книгой, первое упражнение которой начиналось словами: “The wee greedy bee sat on the bleeding keeper’s knee”*. Боюсь, что запись получилась неудачной.

Много времени я проводила в Публичной библиотеке за чтением юридической литературы. Каталогная система и система заказов работали отлично. Единственной проблемой была очередь в переполненном гардеробе, где приходилось подолгу ждать, пока гардеробщик, инвалид войны, заберет пальто и выдаст номерок. В читальном зале всегда былолюдно, пожилые люди иногда задремывали, уронив голову на книгу. Каждые три часа огромные окна открывали, чтобы проветрить зал, и клубы морозного воздуха выгоняли всех в курилку, где от сигаретного дыма топор можно было вешать, в кафетерий или просто в коридор — поболтать.

Весной Алексей Степанович решил, что мне пора начинать работу в районных судах, а потом на заводах. Сидеть в канцеляриях судов, изучать материалы и присутствовать на слушаниях гражданских и уголовных дел, проводить время на заводах и фабриках, читать документы комиссий по трудовым спорам в профкомах или отделах труда и заработной платы и беседовать с сотрудниками было захватывающе интересно. Я побывала на машиностроительном заводе им. Карла Маркса, Ленинградском инструментальном заводе, обувной фабрике «Скорострел», заводе им. Котлякова (до войны он был чугунолитейным, выпускал подковы, в послевоенные годы — эскалаторы, а из остатков металла — велосипеды, молотки и спортивные штанги). Мне нравилось абсолютно все. «Куда ты еще хотела бы пойти?» — спросил Алексей Степанович. По совету друзей из общезнания я предложила: на кондитерскую фабрику или, может, на ликероводочный? «Хмм... — он быстро поднял на меня глаза, — думаю, ограничимся кондитерской фабрикой Микояна».

Одна из аспиранток кафедры, Люся, отвечала за организацию посещений заводов. Мы уже успели с ней подружиться, и на фабрику Микояна отправились вдвоем. На Люсе была свободная

* Маленькая прожорливая пчелка села на разбитую коленку сторожа (англ.).

блузка с поясом, туго затянутым на полной талии: «На всякий случай», — сказала она. И действительно, пока мы работали в отделе труда и заработной платы и осматривали работу конвейеров, нам постоянно предлагали попробовать разные конфеты в количествах, намного превышавших наши возможности. Непонятным образом значительная часть их исчезала у Любы за пазухой, не была замечена во время проверки на выходе и долго еще радовала нас после возвращения домой.

Люся успешно училась аспирантуре и была, на мой взгляд, хорошим юристом. Вместе с мужем, маленьким сыном и мамой, которая учила меня варить разные супы, она жила в большой комнате коммунальной квартиры на Фонтанке. Отец ушел из семьи, но сохранил за собой угол, отгороженный шкафом и книжными полками. Люсин муж работал в лаборатории и имел доступ к чистому этиловому спирту, который называли просто «спирт» (сколько в нем было градусов? семьдесят?). Этот спирт мы пили, разбавив томатным соком. Однажды мы сбежали со встречи с прокурором, специализировавшимся на трудовых спорах, под предлогом, что торопимся на важную профсоюзную конференцию. На самом деле до конференции мы зашли к Любе и выпили «Кровавой Мэри», а потом, нетвердо держась на ногах, но в отличном настроении, с опозданием явились на конференцию. К сожалению, там оказался и прокурор. Но он, заметив нас, ограничился лишь понимающей улыбкой.

Из всех моих подруг ребенок был только у Люси, и от нее я впервые узнала, как сложно в те годы было быть женой, матерью и работать полный день. Если с семьей не жила бабушка и не было бабушки и дедушки в деревне, куда можно было отправить ребенка на лето, то угнаться за коллегами-мужчинами не было никакой возможности. У большинства моих друзей в Ленинграде было по одному ребенку, нередко женщинам приходилось делать аборт, которые все еще оставались нелегальными — так же как и в Англии. Женских контрацептивов в СССР в то время не существовало, но сексуальные отношения — среди студентов и между студентами и преподавателями — были обычным делом. Для молодого поколения в шестидесятых были характерны короткие браки, приключения на стороне, случайные связи и приставания преподавателей, на этом фоне поколение

родителей казалось намного более традиционным. Но, может быть, у молодежи всегда такое мнение о старших? О преподавателях я могла бы много порассказать историй, но надо и меру знать — это глава о работе.

Когда я приходила на завод, меня всегда знакомили с одной из бригад коммунистического труда — рабочие места ее членов украшали маленькие красные флажки, иногда лозунги и плакаты с перечислением обязанностей рабочих. На самом ли деле они являли собой яркий пример идейного коллективизма, или все это было просто «для галочки»? Наверное, ни то ни другое, но зачем это делалось? Название не внушало мне доверия — судебные дела и трудовые споры, которые я разбирала на заводах, показывали, что рабочих интересуют куда более банальные вещи. Я нашла подтверждение своим подозрениям в результатах одного из первых социологических опросов 1963 года, проведенных на факультете философии только что сформированной секцией социологии. Исследование мотивации рабочих не показало существенной разницы в ответах членов и не членов бригад коммунистического труда. Экземпляр опроса дал мне Владимир Ядов, который, получив диплом, пошел работать токарем на завод, к немалому удивлению своих преподавателей. А весной 1963 года он уже создавал новую секцию социологии на философском факультете.

Познакомились мы с ним случайно. Мое заявление осенью 1962 года на очередную шестимесячную стажировку на кафедре трудового права было одобрено Ленинградским университетом, я получила визу, а Соммервил-колледж выделил грант на 250 фунтов для оплаты билетов и проживания в Ленинграде. Приехав, я положила основную сумму на сберегательный счет и брала деньги по мере необходимости. Проживание в общежитии и обучение были бесплатными. Но как и где я меняла фунты на рубли? Не лежали же они в моем чемодане, когда я ехала на поезде из Лондона в Ленинград в декабре 1962 года? В коридоре поезда я разговорилась с севшим в Варшаве пассажиром. Услышав, над чем я работаю, он дал мне свою визитку: «Анатолий Харчев, Академия наук» и сказал, что познакомит меня с Владимиром Ядовым. В Ленинграде я иногда ходила на семинары секции Ядова, но только в 1963–1964 годах, когда он приехал

в Англию по обмену Британского Совета, мы с ним подружились и стали коллегами. «А где, — спросила я у него, — находится железный занавес?» Польский специалист по трудовому праву, работавший на кафедре в Ленинграде в 1963 году, вел себя так, словно мы были своими среди чужих и должны действовать сообща. Меня это удивляло. Ядов улыбнулся в ответ: «Железный занавес, — сказал он, — в Брест-Литовске».

В июле 1963 года я вернулась в Англию и с сентября начала работать в Университете Глазго и писать свою диссертацию. Теперь я была гораздо критичнее настроена по отношению к советским установкам и политическому строю. Некоторые особенности советского строя вызвали симпатию: большие возможности для получения образования, широкий выбор рабочих мест для женщин, отсутствие демонстративного потребления и бросающегося в глаза снобизма, присущих британскому обществу. Хотя бюрократическая волокита и несоблюдение договоренностей доводили меня до отчаяния, но характерные для любой деятельности беспорядок, нелогичность и эмоциональная теплота мне нравились. Реальность была намного многограннее, чем ее описание в стандартных западных или советских исследованиях, и я меньше стала интересоваться Марксом. Во вступлении к книге, написанной на основе моей диссертации, я отметила, что задача состояла «не в сравнении существующих общественных систем как единственно возможных альтернатив социального устройства», а в улучшении и той и другой. Книга была посвящена «Петроградским фабричным комитетам 1917 года в надежде, что их идеалы когда-нибудь будут достигнуты». Однако редактор «Оксфорд Юниверсити Пресс» попросил меня изменить посвящение — издательство считало его слишком провокационным, — и, не зная своих прав как автора, я убрала вторую половину фразы.

Англия глазами русских

Один молодой журналист (с которым я подружилась позже, в 1990 году), повторивший путь Ядова от токаря до социолога, был уверен, что бригады коммунистического труда — это ключ к будущему. Звали журналиста Андрей Алексеев. Его мать, из

петербургской дворянской семьи, и отец, из крестьян, познакомились в институте, где они оба в конце двадцатых годов готовились стать инженерами. Мама научила Андрея говорить по-французски и по-английски раньше, чем он пошел в школу, а затем предоставила ему самому судить об обществе, в котором он жил. О прошлом семьи или современной политике у них дома не говорили. Андрей стал активным комсомольцем. Окончив факультет журналистики в 1956 году, он на два года уехал работать в Самару, а вернувшись, работал в комсомольской газете «Смена».

В 1958-м развернулось движение за коллективную «коммунистическую» работу и жизнь бригад. Члены бригад должны были не только выполнять и перевыполнять план, но и отвечать за товарищей — помогая повышать квалификацию, решая семейные проблемы, вовлекая их в общественную и культурную жизнь. Эти «ядра коммунистического будущего» должны были стать примером для всех. В 1959 году в статье об этих бригадах Андрей писал: «Порой мы спрашиваем себя: а все-таки каким будет коммунизм? Не надо искать каких-то необычайных черт. Коммунизм в нас самих и вокруг нас, в свершеньях и характерах современников. Он в наших буднях. Только пока он существует в виде отдельных радостных примет, а в будущем станет цельной и прекрасной системой». Андрей считал себя обязанным на практике проверить свои убеждения и «собственными руками» участвовать в строительстве коммунизма. В 1961 году он вступил в партию и пошел учеником оператора прокатного стана на один из ленинградских заводов — инициаторов создания бригад коммунистического труда.

Прежде чем выйти на работу, Андрей вошел в состав группы для двухнедельной поездки в Англию. Нашли бы мы общий язык, если бы встретились тогда? Не уверена. Я поняла, что мне трудно общаться с идейно убежденными людьми, вне зависимости от того, верили они в моральное превосходство капитализма или социализма, и я не разделяла его убежденности, что социалистическое общество, пусть и медленно, движется к коммунизму. Его дневник служит доказательством того, насколько чуждой казалась Англия советским студенческим группам и как счастливы они были вернуться домой. Все были расстроены, что не

смогли дотянуться до «настоящей Англии», а чувствовали себя лишь мухами на стекле, за которым была Англия. Эти эмоции были мне очень понятны по моей первой студенческой поездке в Россию в 1959-м. И их и нас не покидал страх перед «иностранными агентами». Как только группа пересекла границу Польши, все сразу стали бдительно следить, не появятся ли иностранные агенты: «Встреченная на корабле немецкая девушка, она действительно та, за кого себя выдает? Не подозрительно ли, что эти два студента...?» Но и различий между нами было немало: сомневаюсь, что кому-то из английских студентов приходило в голову создавать «хороший дружный коллектив», о чем с гордостью писал в дневнике Андрей.

Члены группы были готовы к провокационным вопросам, которые им постоянно задавали: по поводу «демократии» («Англичане, кажется, одержимы демократией»), свободы и Пастернака, поскольку знали, что это попытки подловить их. Им не нравилось, что гиды-студенты рассказывали только о положительных сторонах жизни в Великобритании (так же как и английских студентов утомляли лекции советских экскурсоводов). Однако одного из гидов Андрей описал в дневнике как «достойного соперника»: во время экскурсии по Национальной галерее тот сказал, что искусство всегда ищет новые выразительные формы и не имеет значения, нравится или нет абстрактное искусство лично ему, Вильяму (ему не нравилось), а потом раздраженно добавил: «Это мое личное мнение, почему вы всегда говорите “мы”?» — и процитировал: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».

Хотя Андрею понравились некоторые здания, библиотека и бассейн университета Лестера, а также английские деревни, как общество Англия осталась для него чужой и непривлекательной. Его шокировало поведение студентов — рок-н-ролл, пьянство, поцелуи на танцах по субботам; разочаровало, что они так мало интересуются Россией; ужаснула ограниченность знаний экскурсоводов. «Честное слово, — писал Андрей, — советский человек, хоть наша собственная пропаганда порой и оглушает его, действительно на голову выше человека буржуазного общества. Вот что надо сравнивать в первую очередь, а не метро или нищих на тротуаре. В конце концов, нищих

можно найти и там, и там». И все же он добавил: «Конечно, стихийный интернационалист, заключенный в каждом из нас, не может не замечать хорошего в жизни каждого народа...» Однако сказать, что именно хорошего ему удалось увидеть, он не мог. «Все мы, — писал он, — вернулись более убежденными коммунистами-интернационалистами».

Мы никогда не узнаем мнения остальных членов группы — Андрей всегда мыслил и действовал нестандартно. Вежливый в обращении, но очень упрямый, с милой улыбкой и пронизательным взглядом, в своих статьях и дневниках он убежденно писал о том, что человек должен быть готов отвечать за свои действия; что слова, не подкрепленные действиями, не только безответственны, но и наносят ущерб. В 1962 году он написал большую статью, критикуя движение бригад коммунистического труда, мало чем отличающееся от движения за повышение производительности труда. В своем дневнике в 1961-м он ищет объяснения недовольства рабочих Хрущевым: «Чего достиг Хрущев, что он дал народу?» Предположить, что кто-то может гордиться тем, что расстрелы остались в прошлом, — абсурдно. Обещания коммунистического будущего? Но сегодняшняя реальность не имела с ним ничего общего. «Сегодняшним детям может показаться, что если можно купить молоко без очереди, это и есть коммунизм». Вместо реальных перемен — обещания. Но ведь в правительстве не дураки сидят. Неужели они не понимают, какой вред это наносит? Наверное, раздумывал он, нужно написать Хрущеву письмо.

Через двадцать лет у Андрея начнутся большие неприятности, обыски, его исключат из партии. Через тридцать лет, когда руководящая роль коммунистической партии отходила в прошлое, мы встретились в новом Институте социологии и стали коллегами и друзьями.

Глава 4

ЗАСТОЙ: 1965–1985

Ленинград в 1985 году мало чем отличался от Ленинграда 1960-х: те же магазины, гостиницы и рестораны, университеты, институты и школы, культурные события и способы проводить свободное время. На улицах, как и раньше, почти не было машин. Новые рестораны и магазины не открывались. К праздникам площади украшали громадными партийными лозунгами. Из английской прессы можно было купить только *Morning Star*. Рынки выглядели точно так же, как и раньше, и продавали там те же продукты. В кассах продавали билеты на те же балеты. Банков не было, деньги на счет можно было положить только в сберкассе. Телефонная связь с внешним миром отсутствовала. И даже внутри страны люди чаще отправляли друг другу телеграммы, чем звонили в другой город.

Правда, на окраинах появились новые дома, расширялась сеть метро. Но в электричках люди сидели на тех же деревянных скамейках, дома отдыха на советской части Финского залива — собственность государственных предприятий или организаций — и маленькие деревянные дачки были почти такими же, как и в 1960-х. На короткое лето, когда целый месяц солнце не заходит за горизонт, ленинградцы устремлялись за город — на свои дачные участки, где выращивали фрукты и овощи, или в дома отдыха и санатории на Финском заливе. До восстановленных после войны загородных дореволюционных парков и дворцов Петергофа, Пушкина, Павловска, до лесов и полей было несложно добраться. Но иностранные туристы по-прежнему приезжали только организованными группами или по программам образовательного и культурного обмена. Лайнер «Балтика» больше не курсировал. Теперь из Лондона в маленький ленинградский аэропорт Пулково летали рейсы Аэрофлота. Здесь меня

и встречали, радостно махая руками, друзья, пока я (как всегда в плаще с карманами, полными запрещенной литературы и писем) проходила таможенные формальности. Мы выходили на трассу и садились на автобус до города. Советским гражданам, за исключением немногих счастливых, все еще нельзя было выезжать на запад дальше, чем в Прибалтику. Эмигрировать могли только евреи, да и то лишь самые целеустремленные, сумевшие преодолеть бесчисленные бюрократические барьеры.

Что это время — с середины шестидесятых по середину восьмидесятых — принесло нашим знакомым ленинградским интеллигентам, пока они выросли и превращались из молодых в людей среднего возраста? Многие, но не все, просто жили, не ставя перед собой никаких целей. В 1964-м сняли Хрущева. Генеральным секретарем Коммунистической партии стал Брежнев, который постепенно старел и дряхлел, пока не умер в 1982-м. В эти дни я оказалась в Ленинграде и сразу же побежала в «Дом книги» на Невском, чтобы успеть купить набор плакатов с его изображениями за работой и на отдыхе, пока их не изъяли из продажи. Художникам так и не удалось нарисовать его в героическом образе. В те годы ходил такой анекдот:

Сталин, Хрущев и Брежнев едут в поезде. Вдруг поезд останавливается. Сталин высовывается из окна и кричит: «Расстрелять машиниста!» Потом из окна высовывается Хрущев и кричит: «Реабилитировать машиниста!» А Брежнев всех успокаивает: «Товарищи, товарищи, давайте задернем шторы и будем считать, что поезд едет!»

Не просто так этот период называли «застоем». Все надежды и мечты времен Хрущева постепенно рассеялись. У меня об этом периоде меньше всего воспоминаний, и не только потому что мои приезды (по семейным обстоятельствам) были редкими и короткими, но и потому что (как я понимаю сейчас) это были времена, когда почти ничего не происходило — промежуток между двумя эпохами крутых перемен. Конечно, нельзя сказать, что не происходило совсем ничего (как мы увидим), но события последующих лет полностью заслонили тот период.

Но, прежде чем рассказать о судьбах своих друзей и посмотреть, как менялась (пусть даже очень медленно и неоднозначно)

жизнь города для нашего поколения, давайте попрощаемся с Володей Смирновым — единственным из моих друзей, прошедшим войну с оружием в руках. В последнем письме, которое я получила от него в конце шестидесятых, своим ужасным почерком Володя писал о поездке по усадьбам Чехова, Тургенева и Л. Толстого. Его поразила могила Толстого, у которой нет даже памятника: «Совсем ничего! Только небольшой холмик, поросший травой. Никаких надписей... у меня дрогнула душа, и я почувствовал стыд за свою никчемную жизнь. У тебя, Мэри, такое когда-нибудь бывает? Или у людей, изучающих юриспруденцию, души нет? Как и раньше, все очень печально. Никто не берет меня на работу. Так что можешь представить, как я себя чувствую. Но все это, по правде говоря, чепуха. Я рад, что могу сидеть и писать. Пишу что и как захочу. И, может быть, счастье состоит в том, чтобы снова стать маленьким мальчиком и делать то, что хочется, а не то, что скучные взрослые тети и дяди велют тебе делать. Странно, но Ленин был прав, когда сказал: “Разумные идеи — это прерассудки эпохи”. Ты согласна?»

В 1960-х, насколько мне помнится, я была в Ленинграде еще лишь однажды — в 1965 году, в туристической поездке с моим будущим мужем Алистером, который в это время учился в Москве в аспирантуре. У трапа самолета нас встретил мужчина небольшого роста с внимательно-насмешливым взглядом и в шляпе, как у Робина Гуда, и отвел в зал для иностранцев, где с нами побеседовал другой мужчина, куривший сигареты State Express 555. А вот в «Астории» к нашему приезду оказались не готовы.

— А это кто? — спросила администратор, когда я подала ей паспорт Алистера.

— Мой друг, — ответила я. — Он может остановиться в моем номере?

Все строго посмотрели на Алистера.

— Как вы считаете, Валентина Валентиновна? — крикнула администратор своей начальнице через весь холл.

— Он маленький, — прозвучало в ответ. — Можно ему постелить на диване.

Администратор взяла паспорта.

— Что-то нужно доплачивать? — поинтересовалась я.

— Нет, у нас никаких правил на этот счет нет.

И снова не могу удержаться, чтобы не забежать вперед и не рассказать о случае в Третьяковской галерее в Москве в конце девяностых.

— Пенсионерка? — спросила кассирша.

— Да, — ответила я. — Но не российская.

— Такой категории нет, — сказала она, сверяясь со списком. — Что же делать?

Последовала пауза.

— Мне надо посоветоваться с начальством.

Выйдя из кассы, она заперла дверь и исчезла. Очередь росла, люди переминались с ноги на ногу.

— Начальник обедает, — вернулась кассир. Подумала. Вздохнула. — Дам вам билет как обычной пенсионерке, только никому не говорите.

И еще одна история. Я в Красноярске, в Сибири, беру билет до Москвы.

— Пенсионерка? — спрашивает девушка, заглянув в мой паспорт. — Не знаю, положены ли скидки иностранным пенсионерам... Не могу продать вам билет. Подходите завтра в третье окно.

На следующее утро в третьем окне объясняю ситуацию молодой блондинке с кроваво-красным маникюром.

— Нет, — говорит она, — для иностранных пенсионеров скидок нет. — И берет мой паспорт для оформления билета. Но вдруг останавливается и звонит куда-то по телефону.

— Да, она достаточно пожилая... — слышу я. — Да, да, вполне нормальная...

Кладет трубку и с гордостью заявляет:

— Компания КрасЭйр решила сделать для вас исключение!

Бесконечные правила заставляют людей искать обходные пути. Мы еще встретимся с этим феноменом в следующих главах, а пока вернемся в семидесятые — начало восьмидесятых.

Друзья из шестидесятых

Из всех моих друзей по общезнанию в Ленинграде осталась только Галина. Получив диплом историка, она не смогла сразу поступить в аспирантуру исторического факультета — не было

мест. В качестве компенсации ее взяли на философский факультет и предложили тему диссертации: «Моральный кодекс строителя коммунизма». Через два года она вернулась на исторический факультет и стала вести курс по истории Византии. Декан от ее имени подал заявление на получение постоянной ленинградской прописки. Галина — самая симпатичная девушка в общежитии — никогда не была замужем. Это все, что мне позволено сказать по этому поводу. После пятнадцати лет жизни в съемной комнате коммуналки ей выделили однокомнатную квартиру в новом доме, одном из построенных для сотрудников университета в Петергофе — это пригород, считающийся районом Ленинграда. Герань переехала с ней. Бывая в Ленинграде, я навещала ее, и мы гуляли в парке.

Пожилые родители Галины жили в двухкомнатной квартире в Туле — городе к югу от Москвы. В начале восьмидесятых, похоронив мужа, мама обменяла свою квартиру на однокомнатную в Ленинграде. Теперь у них было две однокомнатные ленинградские квартиры, которые они обменяли на одну двухкомнатную на Васильевском острове, что дало возможность разъехаться жившей в ней большой семье. Этот обмен был довольно простым по сравнению с другими, о которых я расскажу позже. Сейчас замечу только, что Галя опять оказалась на Васильевском, в нескольких автобусных остановках от университета. Ее «сталинка», построенная пленными немцами после 1945 года, — отличный кирпичный дом с высокими потолками и просторными комнатами. Здесь она и поселилась с мамой.

Галине пришлось вступить в партию, но о политике мы не говорили. Никогда. Отец сказал ей перед ее отъездом в университет: «Запомни — тот, кто говорит о политике, или дурак, или информатор». Мы навещали Софию Викторовну Полякову, старую преподавательницу классических языков, у которой Галина училась греческому. София Викторовна жила со своими огромными собаками и двумя подругами (одна из них — известная переводчица Надежда Рыжкова) в трехкомнатной квартире, где прошло ее детство и откуда она в двадцатых годах ходила в элитную «немецкую» школу через дорогу. Полякову очень раздражал непрекращающийся поток «талантливых молодых поклонников» — как она их называла, — приходивших

к Надежде. Поэтому, когда рано утром в ее дверь позвонили два оперативника из КГБ, она встретила их ворчанием: «Опять молодые дарования Надежды Януарьевны... Хотя бы приходили в приличное время!» Не знаю, нашли ли они что-то, кроме вырванных страниц из запрещенного журнала «Континент» в туалете. Воспитание не позволяло Софии Викторовне объяснить оперативникам, что бумагой такого качества лучше всего подтирать зады ее собакам. Для собак я привезла новые поводки-рулетки.

Галина, ставшая теперь ученым и преподавателем-византистом, в начале восьмидесятых приезжала на стажировку в Гамбург, к своим коллегам, у которых были профессиональные связи с ленинградскими учеными. Нам удалось поговорить по телефону — Колчестер с Гамбургом, и я отправила ей денег на пальто (каким образом? — не помню).

Вера теперь преподавала в училище в Тамбове и с гордостью писала мне о своем вступлении в партию и получении грамоты. Чтобы встретиться со мной, она сбежала из больницы, хотя очень плохо себя чувствовала, и прилетела на один день в Ленинград. «Ты нормально питаешься?» — переживала Вера: ухаживая за тремя детьми, я была по-прежнему худощавой. Ни у одной из моих знакомых не было больше одного ребенка. Условия жизни в России — очереди, дефицит, отсутствие услуг и помощи от мужей — создавали достаточно трудностей для работающей матери (а все мои подруги работали) в воспитании даже одного ребенка. Няни, поездки на машине за продуктами в супермаркет и стиральные машины — все то, что давало возможность женщинам моего поколения в Великобритании сочетать работу и семью, было им недоступно, и наша жизнь теперь отличалась гораздо сильнее, чем в студенческие годы. «Счастливая!» — вздыхали они, имея в виду, что я могла позволить себе больше одного ребенка.

В семидесятых жить стало лучше — в плане одежды и потребительских товаров, но для людей моего поколения главными переменами стали новые квартиры. При Хрущеве началась программа строительства панельных пятиэтажек, в Ленинграде ими застраивали городские окраины. Потом начали возводить кооперативные дома — квартиру в них мог купить любой, у кого были деньги, но с ограничением по числу комнат — две или три

в зависимости от размера семьи. Такие квартиры стареющие родители покупали на свои сбережения для семей выросших детей. Так поступили родители и Эльмара, и Лёвы. И Эльмар, и Лёва к тому времени уже были женаты по второму разу, и скоро у них должны были родиться дочери. К началу восьмидесятых все мои друзья, так или иначе, жили в отдельных квартирах, кто-то — в центре, кто-то — на севере города.

Но постепенно одежда и товары повседневного спроса снова стали исчезать из магазинов. Автомобиль был только у Олега, врача, он водил очень неаккуратно и постоянно спорил с женой, куда надо поворачивать. К счастью, машин на улицах по-прежнему почти не было, а застройка центральной части города практически не изменилась. На северном берегу Невы, у знаменитого крейсера «Аврора», возвели новую гостиницу «Ленинград», а возле Александрово-Невской лавры появилось безобразное бетонное сооружение — гостиница «Москва». Иностранцев ученых селили в одну из них. В «Москве» было очень неудобно. Приезжавшие выпить на выходные финны часто валились на пол прямо в коридорах. Из окон их туристических автобусов развевались транспаранты «Слава водке!».

По своей визе я могла находиться только в Ленинграде. Однако редко, очень редко, как на оштукатуренной стене, можно было найти трещинку. Я надоедала сотруднице турбюро гостиницы «Москва»: можно мне поехать на остров Кижы (рядом с Петрозаводском, в Карелии, к северу от Ленинграда), посмотреть восстановленные церкви? Наконец она сдалась: она продаст мне билет до Петрозаводска и даст записку в гостиницу «Интурист», а так как я говорю по-русски, то с остальным справлюсь сама. Счастливая, я отправилась в путешествие. Неудивительно, что в «Интуристе» Петрозаводска меня никто не ждал. Самым простым выходом для персонала было посоветовать мне доехать на автобусе до пристани, откуда уходили корабли в Кижы, и забыть о моем существовании. Я так и сделала. Кижам придется подождать, пока я расскажу о них в другой книге, но один случай на вокзале в Ленинграде навсегда врезался в мою память. Обычно при отправлении поезда проводник стоит в открытых дверях вагона. Поезд был готов тронуться, когда на платформу вбежал полный немолодой мужчина в сопровождении носильщика

с двумя чемоданами на тележке. «Быстреей, быстреей!» — кричал мужчина, схватил один чемодан и зашвырнул его в вагон. Поезд пошел, быстро набирая скорость, а мужчина, раскрыв рот, остался на платформе со вторым чемоданом. Проводник спокойно закрыл дверь. Интересно, вернули ли чемодан владельцу.

* * *

В 1982-м Эльмар и его школьные друзья отмечали пятидесятилетние юбилеи. Дни рождения они всегда праздновали вместе — с выпивкой, закуской и песнями под гитару. В шестидесятых пели песни Окуджавы, цыганские и военные. К восьмидесятым в репертуар вернулись старые романсы и песни времен Гражданской войны. Темноволосый Володя, к тому времени ставший профессором Технологического института, был единственным из компании побывавшим за границей — на Кубе. Лёва развлекался тем, что вырезал из газет самые нелепые фотографии стареющих членов Политбюро и дарил их друзьям. Из диссидентов мы обсуждали только Солженицына. Все прочли его «Архипелаг ГУЛАГ». Сахарова знали, но его работ не читали. Частой и грустной темой была еврейская эмиграция — некоторые знакомые уехали в Америку или Канаду. Иногда мы говорили о коррупции.

Эльмар все эти годы каким-то образом умудрялся вести привычный для себя образ жизни: увлекался то Фрейдом, то Юнгом, то Вебером, то восточными религиями, читал студентам лекции на интересующие его в данный момент темы, время от времени шокировал коллег странными заявлениями, всегда вовремя платил партвзносы и постоянно опаздывал. К своему изумлению, в середине семидесятых он столкнулся с трудностями при смене работы и узнал, что за контакты с иностранцами был внесен в «черный список» служб безопасности. В 1980 году он преподавал на философском факультете Института культуры, готовившего сотрудников для музеев, галерей, театров и СМИ.

Настоящее и будущее представлялись Эльмару в мрачном свете. Участвуя в подпольном опросе, он писал, что, хотя экономическая и политическая ситуация за последние пять лет ухудшилась, социальной напряженности в стране практически

нет. Мало кого удивляет избирательная система без возможности выбора, лишь немногих смущает низкий уровень произведений искусства и невозможность выразить свое мнение. Интеллигенты чувствуют, что оторваны от общества, писал он, и «где-то глубоко в душе мы знаем, что лжем, обманываем самих себя, не делаем того, что говорим, что делаем». Но, добавлял он, это глубоко укоренившаяся русская традиция. Система может продержаться еще долго — «отсутствие товаров и гражданское и моральное мужество немногочисленных диссидентов не ведут к кризису», но, возможно, к концу века какие-то изменения и будут. Марксизм как учение, писал он, устарел и не дал позитивных результатов для России, но и интеллигенция не предложила ничего взамен. Возможные изменения к худшему? Утрата статуса сверхдержавы, возможно, отделение Прибалтийских республик и Средней Азии, возможно, этнический конфликт. К лучшему? Расширение частной инициативы, рыночные отношения, может быть — либерализация и возрождение культуры. Но, замечал он, способность общества к действиям была подорвана физическим уничтожением огромного количества людей в сталинский период; трудно представить себе какой-то значительный рывок вперед, пока не зажил биологический шрам. Как могло бы выглядеть идеальное общество? Возможно, это республика Германа Гессе, где доминирует абстрактная мысль — царство свободы мысли, культуры и интеллектуального принятия решений.

Долгое время он интересовался работами запрещенных до-революционных русских философов, и я возила ему в карманах плаща книги Бердяева и Шевцова. У него были знакомые среди баптистов и в православных семинариях, но не потому что он стал религиозен, а просто потому что его интересовали разные точки зрения. В середине восьмидесятых мы обсуждали религиозные темы — некоторые говорили, что начать верить было бы хорошо, но никто из моих друзей набожным так и не стал. Население в целом стало больше пить. Отдельные случаи указывали на происходившие постепенные изменения. Как-то поздно вечером мы с приятелем возвращались к себе в центр из гостей на такси; на тротуаре стояла женщина с ребенком, и таксист сбавил скорость, но заметив, что женщина абсолютно пьяна, выругался и оставил их на темной улице. В центре мы оказались только

к двум часам ночи и еще долго мерзли на улице — разговаривали и наблюдали за плывущими по реке льдинами. «Ты веришь в Бога? — спросил он меня. — Читала «Волшебную гору» Томаса Манна? Пока не прочтешь, не поймешь Россию». Никто из моих друзей — ни наивных, ни циничных — в шестидесятых в Бога не верил. В моду вошла настольная игра «Монополия», стал популярен Александр Зиновьев — самый оригинальный и пессимистичный мыслитель среди недавних эмигрантов. Дочерям Эльмара я привозила записи Элтона Джона, одежду и лекарства.

Единственным из всех моих друзей шестидесятых годов, пострадавшим за свои действия, был Леонид — один из близнецов Романковых, работавший электронщиком в НИИ телевидения. Он отправил в «Известия» письмо с протестом против ссылки Сахарова, так как «считал, что так должен поступать любой». В 1982 году сотрудники КГБ обыскали его квартиру и конфисковали самиздатовскую феминистскую литературу. Его немедленно уволили с работы, но так как его коллеги и друзья отрицали, что он давал им что-то почитать, Леонид отделался предупреждением и смог устроиться в другой институт. Мы продолжали встречаться, но с большой осторожностью.

Любу, получившую диплом по прикладной физике и занимавшуюся полимерами в Физико-техническом институте, направили на курсы английского языка, чтобы она могла представлять отдел приезжающим иностранным делегациям. Также в ее обязанности входило водить их на экскурсии по городу. Однажды, когда утверждалась экскурсионная программа для очередной группы и одна из ее коллег уже предложила Эрмитаж, Люба сказала, что хорошо бы было сводить их посмотреть мемориальную доску на одном из домов на ее улице, где жил Ленин, памятник Ленину на Финляндском вокзале и памятник «Шалаш Ленина» на Финском заливе. С непроницаемым лицом она наблюдала, как члены комитета пытались скрыть свое смущение. Так как она знала английский и была научным сотрудником, ее отправляли на международные конференции. В 1971 году Люба вернулась из Чехословакии и рассказывала своим коллегам, что самое большое впечатление на нее произвело то, что к ней, как к женщине, относились с уважением. В лаборатории на нее — мать маленького ребенка — смотрели покровительственно.

Однажды ей предложили более высокую должность в другой лаборатории, и она пошла посоветоваться с заведующим лабораторией: «Люба! — сказал Серафим Николаевич, — Мне будет очень жалко, если вы уйдете из лаборатории, но вы понимаете, что это для вас редкий шанс получить должность старшего научного сотрудника. Я вам такого предложить не могу и вряд ли смогу, ведь беспартийная женщина — это даже хуже, чем еврей». Но Люба, как всегда, не могла подвести коллектив и осталась.

Конечно, заявление «даже хуже, чем еврей» покорило читателя. В первые мои приезды в Россию меня всегда ошарашивало, как люди говорят о ком-то, что он «еврей», а не «русский». Да, конечно, я знала, что во многих европейских странах к евреям относились иначе и даже преследовали их, но, по крайней мере в моем поколении, в Англии ты был прежде всего англичанином, американцем или французом, а уже потом евреем — как католиком или протестантом. В повседневной жизни это было совершенно неважно, да и кстати, как узнать, кто еврей? В школе, где я училась, были еврейские девочки, некоторые из них не ходили по воскресеньям в церковь, а вместо этого гуляли, но они были такими же англичанками (или британками), как и все остальные. А вот в России в паспортах в графе «национальность» было написано «еврей», а не «русский». А потом я узнала, что существуют квоты для поступления евреев в ВУЗы. Несмотря на это, в научном мире и мире искусства евреи — ученые, художники и музыканты — играли значительную роль и входили в число самых известных. В середине семидесятых, несмотря на все препоны, началась эмиграция евреев в Израиль и США, при этом преследования верующих (христиан, иудеев, мусульман, свидетелей Иеговы) продолжались.

Ни религия, ни еврейская эмиграция меня особенно не интересовали, но один случай хотелось бы рассказать. В начале восьмидесятых я поехала в Ленинград по гранту Британской академии вместе с молодым английским ученым, не говорившим по-русски, который собирался изучить редкие древнееврейские рукописи из специального собрания Публичной библиотеки. Я чувствовала себя немного ответственной за него и, несмотря на то, что меня раздражали его вопросы (кошерное то или другое блюдо в ресторане «Москва» или нет), предлагала ему разные

варианты, как интересно провести свободное время. К сожалению, гуляя в парке, он уселся на свежеекрашенную скамейку — прочесть предупреждение он не мог. Много времени потратил на покупку самовара в антикварном магазине. Вечером накануне отъезда он пришел ко мне с просьбой вывезти рукопись, которую кто-то дал ему в синагоге. Я отказалась. В аэропорту нас обоих обыскали (единственный раз, когда это со мной произошло) и забрали у меня на проверку мои научные записи. Он в это время звал меня: «Мэри, они хотят забрать мой самовар, потому что он старинный! Помоги!» В конце концов мои записи вернули, и мы сели в самолет. Я все еще была не в настроении, а он после взлета торжествуя заявил: «Видишь! Хочешь вывезти рукопись — купи старинный самовар!» Вспоминая об этом, я улыбаюсь, но тогда мне хотелось дать ему пощечину.

Не жизнь, а существование

Взгляды большинства моих друзей постепенно менялись — если в начале шестидесятых единственным препятствием на пути к социализму они считали Сталина, то теперь думали, что свой вклад в создание советской системы, которую они считали «социализмом», внесли также и идеи Маркса и Ленина. Теперь я обнаружила, что защищать принципы государственной системы здравоохранения приходится мне. Живя в Великобритании, я могла продолжать верить в социалистические идеалы, поскольку видела, какую пользу они приносят — основной проблемой я считала развал правительством государственного сектора и его стремление привязать доступ к образованию и медицинскому обеспечению к платежеспособности людей. А мои русские друзья жили в государстве, которое называло себя социалистическим, но не было способно удовлетворить даже самые элементарные человеческие потребности.

Возможно потому, что окружающая реальность стала настолько серой, я переключилась с изучения современной политики на историю города в период между Первой и Второй мировыми войнами — читала документы, старые рваные газеты, мемуары, просматривала фотографии. На этот раз меня командировали в Институт истории, в котором встречаться

с коллегами нужно было либо в специальной комнате, где сидел ответственный секретарь по работе с иностранцами (из КГБ), либо на диванчике в холле. У меня появился новый друг — историк Виталий Старцев: как-то раз мы вместе вышли на улицу, и он пригласил меня к себе и познакомил с семьей. Возможно, бессознательно я закрывала глаза на застой в городе и выходила из библиотеки, чтобы погулять по улицам, о которых только что прочла, и представлять себе картины прошлого. Политическая и культурная жизнь будто остановились, новые таланты появлялись редко. Не могу вспомнить ни одного интересного спектакля или выставки в этот период.

В каждый свой приезд я обязательно заходила к Пашкову — моему научному руководителю в 1960-х годах. Теперь он работал не на юридическом факультете, а в новом центре по изучению трудовых отношений. Это было странное место — несколько комнат в полуразрушенном дворце Бобринских, который Екатерина Великая построила для своего незаконного сына на Галерной улице. У Алексея Степановича там был просторный кабинет с громадным письменным столом. О чем мы говорили? Я интересовалась, как дела у наших бывших коллег, минут десять мы обсуждали британско-советские отношения, а потом он с облегчением начинал расспрашивать меня о моих делах и семействе, мы говорили о повседневной жизни. Через некоторое время он своим толстым пальцем нажимал кнопку на столешнице и с гордой улыбкой следил за входящей в кабинет хорошо одетой секретаршей, которая приносила нам кофе в маленьких красивых чашечках и печенье. Кажется, последний раз я с ним виделась в 1985-м, когда к власти пришел Горбачев... В тот раз секретарша принесла не только кофе, но и высокую коробку — подарок для меня. Алексей Степанович стал открывать коробку, и показался постамент. «О, нет! — подумала я. — Только не Ленин». Но это оказался Пушкин — копия памятника перед Русским музеем. Я была в таком восторге, что чуть не расцеловала Алексея Степановича.

В годы войны в Афганистане, когда отношения между правительствами СССР и Великобритании были как никогда напряженными, мне отказывали в визах, и только в начале восьмидесятых появилась возможность вновь приезжать на стажировки.

Билеты стоили дешево. Я возила группы студентов из Эссекса по турам «Интуриста» в Москву и Ленинград. В Ленинграде мы ходили смотреть огромную квартиру, где жил Киров — один из руководителей коммунистической партии, убитый в 1934 году; Виталий Старцев рассказывал нам, как на самом деле проходил штурм Зимнего дворца в 1917-м, мы ездили на Пискаревское кладбище, где похоронены умершие в блокаду жители Ленинграда. Я не очень представляю себе, что вынесли для себя студенты из этих поездок, но не замечала, чтобы кто-то из них подружился с русскими студентами так, как дружили мы в пятидесятых и шестидесятых.

Заводить новые знакомства среди коллег тоже стало труднее. Даже Эльмару было сложно приводить меня куда-то без предварительной договоренности. В 1974 году Владимира Ядова назначили заведующим нового социологического сектора Института социально-экономических проблем Академии наук СССР. Андрея Алексева выбрали парторгом, но через год сняли с должности за то, что он защищал эстонского эколога, исключенного из партии по политическим мотивам. К началу восьмидесятых проблемы начались и у самого Ядова: два сотрудника-еврея эмигрировали, социология как наука попала в немилость, сложно было вести сколько-нибудь интересные и важные исследования. Приезжая, я навещала его дома как друг, а не коллега по работе, в Институте не была ни разу.

Незаметные перемены

Если бы я подольше жила в России, то наверняка сильнее бы ощущала малозаметные постепенные изменения. Все знали поэта Бродского, которого начали преследовать в 1963-м, в 1964-м осудили, формально — за тунеядство, в 1965-м освободили под давлением мировой общественности, а в 1972-м заставили эмигрировать. (В 2009 году вышел прекрасный фильм «Полторы комнаты» — о жизни Бродского в Ленинграде, где, среди прочих воспоминаний о поэте, описана его жизнь в коммунальной квартире.) Но о том, что в квартире Льва Гумилева собирался кружок, один из его членов рассказал мне, только эмигрировав за границу. Николай Гумилев, поэт, член белой

гвардии, муж поэтессы Анны Ахматовой, был расстрелян большевиками в 1921 году. Ахматова выжила и до самой смерти в 1966 году писала стихи. Одна из ее самых известных поэм, «Реквием», рассказывает о том, как она стоит в тюремной очереди, чтобы передать посылку своему сыну Льву, который с 1938 по 1956 годы большую часть времени провел в лагерях. После этого он стал этнографом и работал в НИИ — неординарный мыслитель, окруженный учениками. Были и другие кружки, джазовые например. Кто-то, в прямом смысле слова, уходил «в подполье» — работал дворником, за что полагалась каморка в подвале при котельной, и довольствовался мизерной зарплатой. Эти люди писали «для будущего».

Некоторые мои ровесники и те, кто был помоложе, пытались что-то предпринять, но заплатились за это. Однажды ночью художник Юлий Рыбаков написал огромными буквами на стене Петропавловской крепости сорокаметровый лозунг: «Вы распинаете свободу, но душа человека на знает оков». Утром надпись была прекрасно видна с другого берега Невы. Сотрудники КГБ не знали, что делать — вода в реке внезапно поднялась и плескалась о стену бастиона. Надпись решили спрятать, закрыв реквизированными из близлежащей мастерской гробами. На следствии выяснилось, что и другие подвиги — призыв «Слушайте “Голос Америки”!» на витрине магазина радиотоваров и лозунги «За честную политику» на вагонах стоявших в депо трамваев (водители, ничего не заметив, разъехались утром на них по городу) — были делом его рук. В 1982-м Рыбаков вернулся из тюрьмы, так и не обнаружив у сидевших с ним заключенных интереса к политическим свободам, и занялся поддержкой экспериментального искусства.

В середине семидесятых в квартире Арсения Рогинского собиралась группа молодежи. Рогинский, сорокалетний историк, закончивший Тартуский университет в Эстонии, составлял и редактировал самиздатские сборники, публиковавшиеся за границей. В конце семидесятых на его квартире проводились обыски, ему вынесли предупреждение, в 1979-м его уволили из школы, а в 1981 году ему было настоятельно предложено эмигрировать, однако он этого не сделал. Арсения арестовали и приговорили к нескольким годам лагерей.

Недовольные советским строем молодые ученые, писатели и художники собирались в кафе «Сайгон» на Невском, курили и разговаривали. О положении в Ленинграде тех лет написано немало, я пишу только о том, что мне рассказывали много лет спустя. Акции протеста проводились очень ограниченным кругом людей, и о них почти никто не знал. Информация распространялась с большой осторожностью. Как бы мне сейчас хотелось поподробнее расспросить Эльмара о людях, с которыми он был знаком, о кружках, но теперь о многом мне остается только догадываться. Тогда сведениями делились крайне осмотрительно и только с доверенными людьми. Телефонные разговоры прослушивались.

Эльмар познакомил меня с молодым этнографом Галиной Старовойтовой, изучавшей Санкт-Петербург до и после революции. Мы встречались и обсуждали этнический состав жителей города. Но когда она просто не пришла на очередную встречу в библиотеке Академии наук, мне показалось, что лучше не пытаться восстановить с ней контакт. В 1983 году известный экономист Татьяна Заславская подготовила доклад о проблемах в советской экономике, которому сразу присвоили гриф «для служебного пользования». Каким-то образом текст доклада попал на запад, и сотрудники КГБ пытались установить, чей номерной экземпляр (среди имевших к ним доступ был и муж Старовойтовой) пропал. Когда, почти десять лет спустя, мы снова встретились с Галиной Старовойтовой в Оксфорде, она уже была ключевой фигурой демократического движения, и у нас были более интересные темы для обсуждения. В 1998 году Старовойтову застрелили по политическим мотивам на лестнице её дома в Санкт-Петербурге.

Возле Троицкого моста высится Дом политкаторжан — большое конструктивистское здание, построенное в 1930-х, в котором давали квартиры бывшим узникам царского режима. Из длинных, напоминающих тюремные, коридоров двери ведут в одинаковые квартиры. В 1980-х годах там жил Юрий Динабург, родившийся в 1928 году, его отца арестовали и расстреляли в 1937-м. Ещё живя в Челябинске и будучи студентом, Юрий был арестован в 1946-м как член небольшой группы, выступавшей за гуманный коммунистический строй. Последующие восемь

лет он провел в лагере на транспортировке леса, где слушал лекции пожилого немецкого профессора, а после освобождения был «реабилитирован» и принят аспирантом в Ленинградский университет. Эльмар пригласил меня пойти к нему. Юрий тогда работал гидом в Петропавловской крепости, был эксцентричным и самобытным, постоянно поражавшим туристов (будучи очень эрудированным человеком, он иногда от скуки менял даты событий — просто чтобы внести разнообразие, объяснил мне Эльмар). Юрий жил здесь со своей второй женой Леной, изящной тридцатилетней женщиной — она вышла за него замуж в 20 лет и с тех пор посвятила свою жизнь перепечатке его неопубликованных работ и плетению корзиночек из бересты.

У читателя могло сложиться впечатление, что для людей моего поколения, да и не только моего, жизнь в Ленинграде при Брежневе была интересной — в интеллектуальном и артистическом плане. Это не так. Можно было поехать кататься на лыжах на Памир или на юг в археологическую экспедицию (как делали близнецы Романковы), в отпуск в Крым (как Соколовы), в лыжный поход по Финскому заливу или арендовать дачу в Прибалтике, но в самом городе и на работе многие чувствовали, что не живут, а существуют. КГБ в начале восьмидесятых был, если можно так выразиться, «докучливым».

Андрей Алексеев и его соцпрос

Кто организовал неофициальный соцпрос, в котором участвовал Эльмар в 1980 году? Не кто иной, как Андрей Алексеев. Осенью 1965-го он решил сменить род занятий и стал социологом. В течение десяти лет он очень много читал, в том числе и запрещенную литературу. Он не сомневался ни в необходимости Октябрьской революции, ни в социалистических идеалах, но перестал верить в то, что коммунистическая партия придерживается заданного ими курса, и пришел к убеждению, что при однопартийной системе эти идеалы не могут быть воплощены в жизнь. К 1970 году Андрей выработал для себя интеллектуальный и моральный кодекс. Кодекс по-прежнему гласил, что человек в ответе за происходящее вокруг, но теперь Андрей добавлял: «Не берись за задачу, которая тебе не по силам, но

добивайся, чтобы ты, за которую взялся, по своей воле или нет, ты выполнил лучше, чем кто-либо другой, — будь это работа, любовь, дружба, самое простое дело, революция или смерть». Среди прочих в его списке были следующие постулаты:

- Относись к другим с тем же уважением, что и к самому себе.
- На бесчестный удар отвечай ударом честным.
- Не стой в очереди больше 15 минут за тем, без чего можешь обойтись.
- Не делай лишних движений, не останется энергии на нужные.
- Если кто-то украл твои идеи, это значит, что они достойны быть украденными — успокаивай себя этим.

В 1979 году он составил вопросник, чтобы узнать, что думает ленинградская интеллигенция о настоящем и будущем СССР. Ему нужно было найти людей, которым он мог доверять и которые верили бы, что он оставит ответы анонимными. В результате набралось чуть больше сорока ответов. Конечно, респонденты не являлись репрезентативной выборкой ленинградской интеллигенции, а были только интеллектуальной и культурной группой, пересекавшейся с кругом моих друзей и знакомых, к ней принадлежал и Андрей. Я прочла эти ответы лишь десять лет спустя.

Политические события и я, и они оценивали примерно одинаково, но их взгляды на экономическую и социальную ситуацию были намного пессимистичнее моих. Оптимистов практически не было. Почти все полагали, что каких-либо значительных политических или экономических перемен до конца века не предвидится: хотя экономическая система и улучшила качество жизни большинства населения, в настоящий момент она пребывает в глубоком кризисе и неспособна к дальнейшему развитию; людей обеспечивают «хлебом и колбасой», но при этом душат любую инициативу и деморализуют трудящихся. Страдают жилищное строительство, здравоохранение и транспорт, товаров повседневного спроса становится все меньше. Большинство населения озабочено лишь потреблением — «дом, бытовые услуги и работа», алкоголиков становится все больше. Необходимость выкручиваться, давать взятки, обманывать,

несовпадение провозглашаемых идей с реально действующими правилами привели к моральному разложению людей. Правящая элита самовоспроизводится, а огромная прослойка больших и малых бюрократов поддерживает статус-кво. Интеллигенция деморализована, по большей части разрушена ограничениями в области культуры и двойной моралью, в соответствии с которой вынуждены жить все поголовно. Как бы ни были смелы малочисленные диссиденты, политической погоды они не делают. Такая система не может существовать бесконечно, но сами ее «противоречия» создают «гиперстабильное» общество, ситуацию «стабильного кризиса», «инерции», «ледника, сползающего с горы». Изменить ситуацию может внешняя угроза (почти все указывали на Китай); изнутри изменения могут начаться только после перемен во власти. Всего несколько респондентов посчитали это возможным, но отмечали, что с той же вероятностью новое руководство может попытаться вернуть страну к более централизованному, репрессивному строю.

Однако кто-то с нелогичным оптимизмом заключил: «...но сознание изменится и, в один прекрасный день, своекорыстные функционеры с ужасом заметят, что народ обратил свой взор в другую сторону». Как ни странно, как мы узнаем из следующей главы, именно так и случилось в Ленинграде в 1989 году.

Если все участники опроса были деморализованы, то Андрей был настроен иначе. В паре его императивов — «делать то, что делаешь, *должным образом*» и «личная ответственность за общество» — заключался план действий. Он решил вернуться на завод и, как социолог, проанализировать и попытаться улучшить рабочий процесс. Вне всякого сомнения, он станет образцовым рабочим. Ядов поддержал эту идею, было получено разрешение парторганизации, и в конце 1979 года Андрей устроился на Ленполиграфмаш учеником токаря.

В одном цехе он проработал девять лет и все это время вел дневник в форме писем, которые посылал своим близким подругам. Читая их (хотя автор явно не стремился к такому эффекту), начинаешь жалеть руководство цеха и завода. На их несчастье, Андрею выделили станок, который часто «гнал брак». Андрей задался целью привести станок в нормальное рабочее состояние. На начальство обрушилось огромное количество письменных

заявок, но отделы перекладывали ответственность друг на друга. На соседнем заводе Андрей нашел мастера, который взялся починить его во время своего отпуска, администрация платить отказалась, и Андрей заплатил из своего кармана, а потом долго боролся с администрацией и поднял вопрос на партсобрании. Ему разрешили пригласить своего двоюродного брата, инженера, чтобы он попытался найти неисправность. В конце концов обнаружилось, что основная рабочая поверхность немного искривлена. К этому времени станок проверила половина заводских технологов, приходил даже заместитель директора, было написано огромное количество бумаг. Чтобы обеспечить бесперебойную работу станка, потребовалось шесть месяцев, но, когда через пятнадцать лет остальные станки списали, этот продолжал прекрасно работать.

В своих письмах Андрей рассказывает о ежедневной борьбе «вокруг станка», а когда основная причина неполадок была найдена, пишет, что виной всему «генеральная линия». Если она искривлена, то и все остальное тоже перекошено. Вскоре он начал постоянно критиковать начальство. Андрей использует термин «разгильдяи», что в его понимании означает «отсутствие интереса, некомпетентность и безответственность». Эти качества наблюдаются и у рабочих, но их компенсирует способность предлагать пути для улучшения, которые начальство просто-напросто игнорирует. Он все еще надеется, что перемены могут начаться по инициативе партии. В 1981 году Андрей заявил на партсобрании, что лишь четверть своего рабочего времени тратит на выполнение той работы, за которую ему платят. Для начальства он был «бельмом на глазу». В одном из писем он замечает: «Я не добиваюсь того, чтобы все рабочие начали писать докладные записки... Я просто хочу показать, что простой, ничем не примечательный человек способен что-то предпринять».

Однако в начале восьмидесятых, когда после смерти дряхлеющего Брежнева к власти пришел Андропов, ленинградский КГБ, как мы уже говорили, занялся потенциальными возмутителями спокойствия. В ноябре 1983-го квартиру Андрея обыскали и конфисковали документы, книги, письма и дневники. На следующее утро он пошел в Публичную библиотеку, взял Уголовный кодекс и написал официальную жалобу в прокуратуру

с указанием девяти статей закона, нарушенных сотрудниками КГБ во время обыска. Неудивительно, что кодовое название дела Алексева в КГБ, которое давали каждому делу, было «Аспид».

В рамках профилактической работы, проводимой в соответствии с неопубликованным указом 1972 года, ему вынесли официальное предупреждение за незаконное владение и распространение политически опасной литературы (А. Зиновьева, «1984» Оруэлла на английском языке, работ Мао Цзэдуна, неопубликованной повести Искандера и восьми документов «для служебного пользования», в том числе доклада Заславской). Хотя в КГБ попал лишь один из ответов на анкету и во время допроса Андрей утверждал, что уничтожил остальные (что было отчасти правдой — одну пачку ответов он сжег на снегу), его обвинили в организации предвзятого опроса, «вопросы которого были сформулированы таким образом, чтобы получить негативную оценку касательно состояния советского общества и перспектив его дальнейшего развития». Более того, он использовал свой опыт работы на заводе для написания порочащего отчета о производственных отношениях под видом «писем». Во время допроса, говорилось в конце предупреждения, он давал нечестные ответы и отказывался объяснить свои действия. Предполагалось, что в таких случаях обвиняемый должен прочитать обвинение и подписать его, но Андрей отказался ставить подпись, пока не получит копию. Крайне неохотно согласие дали: он переписал документ от руки, подписал оба экземпляра, и оставил копию себе.

Возможно, безупречный послужной список позволил ему сохранить работу на заводе. В апреле 1984 года его исключили из партии, а затем — из Союза журналистов. Во время голосования в цеху двое воздержались; один из членов партийной комиссии, ознакомившись с письмами, заявил, что не увидел в них никакой неправды, после чего был выведен из комиссии. В сентябре 1985 года ЦК партии утвердил исключение Андрея из партии. Но с приходом к власти Горбачева ледник пришел в движение, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее.

Глава 5

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕНИНГРАДА: НЕТ ЕДЫ, НО ЕСТЬ НАДЕЖДА

К концу восьмидесятых город совсем обветшал, некоторые здания буквально разваливались. Денег не было. Краска на стенах дворцов облупилась. Старые многоквартирные дома были заброшены и полуразрушены, канализация проржавела, дороги — разбиты или разрыты. Но Ленинград никогда и не был аккуратным и ухоженным городом. В нем великолепие всегда соседствовало с бедностью, и эта небрежность была одной из его привлекательных черт. Городу пришлось пережить многое — гражданскую войну, сталинские «чистки», блокаду во время Второй мировой, но он всегда возрождался. И вот снова настали тяжелые времена. Но к этому времени прекрасный молчаливый город советского периода, несмотря на выцветший фасад, обрел свой голос.

В 1985 году Генеральным секретарем ЦК КПСС стал энергичный реформатор Михаил Горбачев. Он провозгласил в стране гласность и начало перестройки. Когда в 1986 году, после звонка Горбачева, из ссылки вернулся знаменитый физик-ядерщик Андрей Сахаров, на вокзале в Москве его встречало телевидение. Сначала осторожно, но постепенно все смелее в газетах и с телеэкранов стали говорить на давно забытые и запрещенные темы. Если начало шестидесятых — времена Хрущева — было периодом перемен и надежд, то изменения конца восьмидесятых просто не укладывались в голове. К 1990 году границы стали понемногу открываться, с отменой цензуры началась разногласица в СМИ и на улицах, стартовала приватизация и купля-продажа, царило беззаконие, появились новые формы бедности, новая политика... Но даже в 1990-м мало кому (если вообще кому-то) из моих ленинградских друзей могло прийти в голову, что летом 1991 года на альтернативных выборах ленинградцы проголосуют за «демократического» мэра Анатолия Собчака и что город будет переименован в Санкт-Петербург. И уж совсем невозможно было

вообразить, что 25 декабря над Кремлем поднимется российский флаг, знаменуя конец существования Советского Союза.

Нити памяти, связывающие начало девяностых с настоящим, гораздо прочнее и сильнее переплетены между собой, чем те, что переносят меня в шестидесятые. Возможно потому, что прошло меньше времени, но и потому, что те годы были настолько уникальны. В 1961-м мы с Эльмаром пробирались сквозь снежные заносы на встречу с кинорежиссером Григорием Чухраем, чтобы послушать рассказ о его фильмах на давно запрещенные темы, а в 1990-м я шла по переброшенным через глубокие ямы доскам к Дому культуры железнодорожников, где Эльмар выступал с лекцией о социальной философии Бердяева. В 1961-м люди играли с огнем, критиковать прошлое было рискованно: это мог себе позволить Хрущев — Генеральный секретарь ЦК КПСС, но другим такого разрешения не давали, «белых ворон» всегда были готовы задавить огромный бюрократический аппарат и общественное мнение. В 1990-м все было иначе. Поколение преданных и напуганных ушло, с исчезновением руководящей роли партии внезапно были низвергнуты все авторитеты, и появился новый лозунг «Все дозволено». Шли политические митинги, телевидение стало, кажется, самым свободным в мире. Стоя под морозящим дождем на Дворцовой площади, я слушала ораторов, призывавших с двух открытых грузовиков продавать акции рабочим. Выступать с грузовиков на Дворцовой площади? Вероятно, в последний раз такое случилось в 1927 году, когда Троцкий с горсткой своих последователей безуспешно пытался обратиться к участникам ноябрьской демонстрации. Теперь это происходило постоянно, а вот еды в магазинах было мало. Я покупала продукты и жила у друзей. На стол подавались главным образом каша, хлеб и черный кофе.

В кафе возле Института социологии, к которому меня прикомандировали, иногда продавали абрикосовый сок и коньяк. В институте у меня появился новый друг — Андрей Алексеев.

Институт социологии

Директором Института социологии был Борис Фирсов, который, с отличием закончив Ленинградский электротехнический, долгое время занимался общественной деятельностью — сначала по комсомольской, в головокружительные хрущевские

годы — по партийной линии, а потом стал директором Ленинградской студии телевидения. Прирожденный лидер, энергичный и творческий, который, если бы процесс десталинизации продолжился, мог бы пойти очень далеко. Однако в 1966 году новые политические веяния и его стиль руководства телеканалом привели к тому, что его уволили. Фирсов, под руководством Ядова, занялся социологией в Институте социально-экономических проблем, пока в 1984 году решением Ленинградского обкома партии его не освободили от должности заведующего отделом. Но с приходом Горбачева судьба Бориса изменилась к лучшему. В 1989-м он возглавил новый институт — Петербургский филиал Института социологии АН, а Ядов переехал в Москву, чтобы занять пост директора Института социологии Академии наук. Они — молодые партийные работники во времена Хрущева — теперь, приближаясь к шестидесятилетию, собирались реформировать социальные науки.

Новый институт собрал сотрудников разных поколений, но в секторе социологии общественных движений всем, кроме Андрея, было от тридцати до сорока с небольшим, и все, так или иначе, участвовали в политической жизни. Свою задачу социологи видели в проведении исследований и развитии демократии в городе и обществе. Общая атмосфера вовлеченности в реформы (правда, теперь гораздо более радикальные) напоминала ту, что царила на факультете трудового права тридцать лет назад. Отчеты о работе сектора, совместные проекты и планы публикаций усиливали сходство. Вера в коллективный труд пережила власть коммунистов. Но дискуссии велись уже совершенно на новом уровне. Сотрудники ездили в Америку, Англию и Германию, хорошо знали западную литературу, могли свободно высказываться об обществе, в котором жили. Наши интересы, несмотря на разницу в возрасте, во многом совпадали, мы говорили на одном языке. К этому времени я переехала из Эссекса в Оксфорд и снова изучала современные политические тенденции — не только в Ленинграде, но и в нескольких других городах России. Я ездила на Урал, на север в Архангельск и на юг в Краснодар. Коллеги из института, в том числе Андрей, бывали в Англии в командировках, Виталий Старцев приехал, чтобы поработать в лондонской библиотеке Великой масонской ложи.

Многие из тех, кто был молод во времена Хрущева, мечтали о политических переменах (но каких?), о большей свободе в печати, искусстве и науке, о путешествиях, о реформах в застойной экономике. Но руководящая роль коммунистической партии глубоко укоренилась в обществе, и альтернативы ей не было. Многие наблюдали за происходящим со стороны: читали откровения о сталинских временах (словно вернувшись в хрущевскую эпоху) и не отрываясь смотрели телевизор, но сами ни в чем не участвовали.

Андрей, как и ожидалось, был одним из немногих, кто активно действовал. Его аргументы были очень просты: «Мы не должны ждать перемен, мы должны вызывать их. Перестройка произойдет только тогда, когда люди, как ты и я, сделаем ее». Как и раньше, его стратегия состояла в том, чтобы соблюдать правила. Когда в 1987 году Ядова не выбрали председателем Российского общества социологов, Андрей опротестовал законность голосования на основании отсутствия кворума и, после того как Общество неблагоразумно обвинило его в клевете, обратился в суд и выиграл. Когда начальник цеха сделал ему письменное замечание за опоздание на десять минут с обеденного перерыва, Андрей подал в суд и на него. Он выступал за выборность директора завода и Совета трудового коллектива. В тот же период четырнадцать его коллег-социологов написали в ленинградский горком с просьбой пересмотреть решение о его исключении из партии. Партком завода был против: выступления Андрея — «демагогические, отрицательно влияющие на взаимоотношения руководства и рабочих», он проводит несанкционированные социологические опросы, вовлекает завод в судебные разбирательства, приводящие к потере времени и денег, «не терпит критики в свой адрес и не признает своих ошибок перед партией». Несмотря на это, события стали развиваться благоприятным для Андрея образом. Шестнадцать рабочих из его бригады направили письмо в Центральный комитет, заявляя, что в 1984 году им не предоставили достоверной информации.

В сентябре 1987-го «Литературная газета» опубликовала статью, где Андрей предстал «героем нашего времени». Его восстановили в партии и признали партийный стаж непрерывным. Аналогичная статья вышла и в популярном журнале «Огонек». Однако известность отрицательно сказалась на его

взаимоотношениях с рабочими, и в июле он ушел с завода, чтобы вернуться к научной социологической работе. Осенью он стал одним из основателей клуба политических дискуссий «Перестройка», объединившего группу представителей ленинградской интеллигенции. Впоследствии некоторые члены клуба заняли государственные политические посты.

Летом 1990 года Андрей вышел из партии, разочарованный тем, что Съезд партии не пошел по пути демократизации: он понял, что партия проводить реформы не будет. На выборах 1989 и 1990 годов он не стал выдвигать своей кандидатуры, однако работал в штабах демократических кандидатов. Придя в Институт социологии, он занялся созданием архива печатных материалов по современным демократическим движениям в России — неофициальных и официальных газет, журналов, брошюр и других документов. Средств на сбор архива почти не выделяли, и Андрей тратил на это свою зарплату. В 1990 году, когда мы познакомились с ним, одетым в поношенный пиджак со значком польской «Солидарности» на лацкане, в комнате сектора еще оставалось немного места, и между старыми железными полками и книжными шкафами пока можно было протиснуться. Через два года архив уже не умещался в одной комнате — бумаги выплеснулись в коридор и на лестницы.

Эльмар, близнецы Романковы

Деятельность Эльмара, как нетрудно предположить, лежала совсем в другой области. Он написал письмо в Публичную библиотеку с предложением открыть «закрытые фонды» (собрания книг, запрещенных цензурой) и организовал дискуссию с участием группы кришнаитов в Доме ученых. Дом ученых — объединение или клуб, расположенный в одном из небольших дворцов на набережной, созданный после революции Максимом Горьким для помощи нуждающимся ученым, — продолжал работать. Эльмар входил в состав его совета, но получал выговоры за свои действия. Близнецы Романковы участвовали в политической жизни напрямую — поддерживали выдвижение Сахарова кандидатом в Совет народных депутатов на выборах 1989 года, на которых правила игры внезапно изменились.

В 1988 году Горбачев предложил новую систему проведения «частично свободных» выборов в Советы народных депутатов СССР, по которой часть кандидатов избиралась на альтернативной основе (если за них подавалось 50% голосов). В списках кандидатов были высокопоставленные партийные чиновники, не сомневавшиеся, что их, как обычно, переизберут. В Ленинграде не переизбрали первого секретаря горкома. После объявления результатов в Смольном воцарилась мертвая тишина, люди смотрели друг на друга, не в силах поверить в произошедшее. Как сказал мне один из депутатов, люди вдруг обнаружили, что им достаточно было вычеркнуть имена партийных секретарей из бюллетеня, чтобы они растаяли, словно тени.

К лету 1989 года политическая обстановка менялась настолько быстро, что будущее стало совершенно непредсказуемым. Долго ли можно будет пользоваться сегодняшними возможностями? Не ждет ли нас участь выступавших на площади Тяньаньмэнь? Впервые в жизни Эльмар смог выехать на запад, и летом 1989 года они с женой Тамарой и дочерью гостили у нас в Англии. Ехали поездом, а потом на пароме из Голландии в Харидж. Мы бесконечно долго обсуждали независимость прибалтийских республик, теперь Эльмар был целиком и полностью «за». Эльмар и Тамара купили большой телевизор — в Ленинграде таких не было. Возвращение в Россию оказалось непростым: из Голландии их депортировали обратно в Англию, поскольку транзитные немецкие визы истекли, потом обнаружилось, что снова въехать в Англию нельзя и что транзитные визы можно продлить только по месту выдачи — то есть в Ленинграде. С большим трудом, при содействии полиции Хариджа, нам удалось получить для них разрешение вернуться в Англию на 24 часа. «Давай ты распишешься за меня, — вежливо предложил Эльмар в один из напряженных моментов в посольстве Германии в Лондоне, — а я распишусь за Тамару». — «Эльмар, — сказала я, — нужны личные подписи». — «Ну и что? — ответил он, — Только за себя расписываться очень скучно. В России мы часто расписываемся друг за друга».

Вернувшись в Россию, он писал мне: «Мы до сих пор под впечатлением от нашей поездки в Англию. Лично я все еще не могу прийти в себя и пытаюсь после возвращения «восстановить» свое обычное умонастроение прогулками по лесу, особенную

надежду я возлагаю на сбор клюквы... <...> P. S. 1) Минуту назад позвонил Лёва. Он купил старую машину, хуже твоей... теперь он нервничает, потому что ему нужно купить аккумулятор и другие детали, а в наших магазинах ничего нет! 2) Политические и идеологические процессы сейчас идут очень быстро, но в экономике ничего не меняется, и ситуация с властью остается неопределенной. Мы надеемся на лучшие времена».

В последующие два года экономическая ситуация продолжала ухудшаться, а политическая система коренным образом менялась. В марте 1990 года в ходе альтернативных выборов большинство в Ленсовете получила неформальная демократическая организация «Ленинградский народный фронт». В Совет избрали и Леонида Романкова, возможно, в его пользу сыграли и его бывшие стычки с КГБ. Он стал одним из многих депутатов-«демократов», в основе политической программы которых лежали защита прав человека и политических свобод, а также улучшение условий жизни в городе. Через месяц, когда новый Совет начал работу, я жила у Соколовых в Ботаническом саду — как Джим, английский студент, приезжавший к ним в 1958 году. Я просто купила в Москве билет на поезд и приехала. Разница была в том, что, даже если КГБ и знал, где я, никому до этого дела уже не было. Никто больше не контролировал печать, выступления и политическую деятельность, бояться было нечего.

Первое заседание Ленсовета показывали по телевизору в прямом эфире, и мы стали непосредственными свидетелями того, как работает новая политика — неорганизованная, часто на грани хаоса (потребовалось больше часа, чтобы выбрать председателя заседания), с очередью депутатов к микрофону. Но, прежде чем рассказать о новой политической атмосфере в Ленинграде, давайте немного поговорим об обычной жизни ленинградцев тех лет.

Во второй части книги мои герои в основном пытаются достать еду, понять, что делать с приватизацией и как удержаться на рабочих местах в только что переименованном Санкт-Петербурге 1992 года. Ситуация с продуктами питания в 1990–1991 годах была, кажется, еще хуже, но возбуждение, вызванное СМИ и политическими событиями, на время заслонило повседневные заботы. Посмотрим, что мне удастся вспомнить.

Разруха

В 1990 году авиакомпания British Airways начала выполнять рейсы в Ленинград. В старом аэропорту Пулково место красных лозунгов заняли два рекламных плаката: новой немецкой пивной на Невском и какого-то индийского ресторана. Пассажиры больше не беспокоились, что их будут обыскивать на предмет провоза запрещенной литературы. Но теперь я везла продукты — сколько могла. Маленькое здание аэропорта стало небезопасным местом, иностранные туристы были желанной целью для воров — у них всегда находилось чем поживиться. Специальный сотрудник British Airways обычно встречал запоздавшие ночные рейсы и рассаживал возбужденных пассажиров в две-три «безопасные» машины, развозившие их по темному городу в гостиницы.

В сентябре 1990 года, когда я приехала поработать в Институте социологии, меня поселили в гостинице «Морская» — очень некрасивом сером бетонном здании на Васильевском острове, недалеко от порта и Галининой квартиры. В начале шестидесятых, когда мы садились здесь на корабль в Тилбери, эта часть острова была редко застроена маленькими желтыми домиками. Теперь повсюду высились многоквартирные дома. Но окруженная соснами небольшая бухточка, где начиная с XVIII века строили корабли, никуда не делась и сохранила первозданный вид. Своим мрачным обликом гостиница символизировала разруху, вызванную годами застоя. В ней разместился огромный зал игровых автоматов и висело исполинское расписание движения судов. Еще был ресторан, где днем официанты в смокингах лениво переключивали с места на место розовые салфетки и болтали — обслуживали здесь только вечером и только туристические группы по предварительным заявкам. Ещё был «Гриль-бар» с отпечатанными под копирку меню, не имевшими ничего общего с предлагавшимся там скудным ассортиментом. В буфете на моем этаже всегда можно было купить черный кофе (его подавали в старых треснутых чашках) и хлеб, иногда творог, бледные сосиски или курицу, а порой и пирожные. Оторванный край линолеума «под паркет» свернулся поперек буфета, и о него спотыкались постояльцы, возвращавшиеся из буфета с тарелками и чашками в руках. Похоже, делать ремонт никто не собирался.

В платяном шкафу порхала моль, затычка для ванной отсутствовала (как обычно в советских гостиницах), а телевизор показывал только две программы. В коридоре висела табличка на английском языке: “7th floor: Off-beat Business Centre”^{*}. Я отправилась на его поиски и нашла двух женщин, осторожно нажимавших клавиши компьютеров, но они объявили, что бизнес-центр закрыт. На следующий день они же сообщили, что бизнес-центр открыт, и молодой человек, вальяжно куривший в кресле и разглядывавший фикус, согласился откопировать для меня несколько страниц. На это ему потребовалось минут пятнадцать и множество испорченных листов. Одна из женщин в это время узнавала сегодняшние курсы валют и выписывала счета. Я испытывала смешанные чувства — и радость, и отчаяние. Радость, потому что лет десять в библиотеках мне отказывались снять копию со статьи, а отчаяние — потому что, судя по моей гостинице, «переход к рынку» казался совершенно невозможным. Единственным изменением были дежурные по этажу — вместо привычных старушек ключи выдавали молодые девушки в джинсах и туфлях на высоких каблуках. Для этого им приходилось отрываться от бесконечных телефонных совещаний с подружками: писать ли еще Алексу или Генриху в Гамбург, ведь он так и не ответил на последние письма.

Однажды, по старой памяти, я пригласила своих старых друзей поужинать в «Астории». Кроме нас в ресторане была всего одна компания — приехавшие из-за границы русские угощали своих родственников. Обслуживание было ужасным: три раза нас спросили, как мы будем расплачиваться, пирожки принесли с горячим, а не с супом, официант перепутал наши заказы, а когда мы попросили третью бутылку вина, нам сказали, что больше двух не положено и вообще повара уже уходят. Стараясь сгладить впечатление, официант принес нам пустую пластиковую бутылку из-под минералки (очень удобно брать с собой в лес или в поездку), а потом выскочил за нами на улицу, потому что отдал мне не ту часть чека VISA.

С тех пор, куда бы я ни приезжала, всегда старалась жить не в гостиницах, а у друзей и знакомых. Единственной проблемой

^{*} Необычный бизнес-центр — 7 этаж (англ.).

было то, что им нужно было меня кормить, а достать продукты было трудно. Я была «лишним ртом». Старая система распределения больше не работала, транспорт ходил из рук вон плохо. На границе стояли контейнеровозы с товарами, но железнодорожные вагоны были сломаны, а бензина для грузовиков не хватало. На пригородных полях уродилась картошка и морковь, но собирать урожай было некому — партия больше не могла приказывать директорам заводов отправить рабочих «на картошку», а Горсовет мог только «призывать». В сентябре 1990 года единственным способом заготовить морковь на зиму, ждавшую сбора на полях всего в 50 километрах от центра города, было убедить математиков поехать туда с ведрами и собрать ее.

Неудивительно, что при слове «торговля» все сразу вспоминали рэкет и коррупцию. Одна из телепрограмм регулярно показывала обнаруженные склады, забитые гниющими продуктами, или дилеров, ворующих товары из государственных сетей и перепродающих их частным предпринимателям. Постоянно велись возбужденные разговоры о приближающемся «рынке». Никто не знал, что собой представляет эта непонятная и страшная вещь, но все твердили, что «рынок необходим, рынок должен быть в каждой стране», словно пытались будничным отношением отогнать страх неизвестного. У станции метро «Приморская» с грузовиков часто торговали привезенными с юга дынями, помидорами и виноградом. Старичок на трамвайной остановке горько сетовал:

— Вы цены видели? Когда это помидоры были по 4 рубля за килограмм? А продавцы — сплошь черные. Куда катится Россия?

Он еще больше разнервничался и затопал ногами в валенках, когда две старушки заметили:

— То ли еще будет, когда перейдем к рынку.

— К какому рынку? — распалился он, но старушки не сдавались:

— Все говорят, что рынок нужен, и тогда цены вырастут еще раза в два, а то и больше.

А я все думала, придется ли интеллигентам, как в 1920-м, идти копать торф на болотах? Развал экономики был налицо. Постоянно звучала фраза: «Мы не готовы к зиме», но и раньше, по словам Виталия Старцева, город никогда не приводили к зиме в порядок, не чинили трубы и не готовились к появлению снега

и льда. Если будет топливо, город выкарабкается, зима, конечно, возьмет свое, жители будут болеть и мучиться, но так, как в Петрограде в Гражданскую, а тем более как в блокаду, не будет. Хуже всего — и материально, и психологически — приходилось старикам. В 1961-м мы с Верой приходили в однокомнатную квартиру к сестрам ее бабушки. Они прожили трудную жизнь: молодыми врачами поехали по распределению в Среднюю Азию, вернулись в Ленинград, работали, чуть не погибли в блокаду — ели траву и ветки, в шестидесятых курили крепкие сигареты, пили крепкий кофе, до бесконечности играли в карты (постоянно жульничая) и вспоминали свое непростое прошлое, но тогда у них была надежда на «светлое будущее», а у старичка на трамвайной остановке («Я что, за это воевал? Мне восемьдесят шесть лет, а я один помидор купить не могу!») не было ничего.

Самым голодным стал 1991 год. Большинство моих друзей похудели и часто болели. Очень сложно сравнивать уровни жизни в разные годы. Мои ожидания, как и у моих друзей, были теперь другими. Было ли в 1990-м хуже, чем в шестидесятых? Если говорить об одежде и обуви, они стали гораздо лучше. Хотя российской молодежи, чтобы нарядиться в джинсы, куртки и кроссовки, нужно было потратить гораздо больше усилий и денег, но за деньги достать можно было что угодно. А вот с продуктами было хуже. Когда в 1961 году Вера отправляла меня в продовольственный через улицу, в списке была картошка, морковь, масло, банка горошка, колбаса, голландский сыр, майонез и конфеты — мы готовились к приходу гостей. В 1990-м нечего было и думать все это купить и, уж конечно, не в магазине. В кафе, где в 1960-х мы покупали свиные котлеты, теперь продавали в лучшем случае куриные ножки. Блюда в столовой Публичной библиотеки и студенческом кафе № 9 стали гораздо хуже.

Время шло. В Англии мы питались намного лучше своих родителей в нашем возрасте, а в Ленинграде пожилые люди стояли в очередях за молоком, выбор молочных продуктов стал исключительно бедным. Как вы помните, в шестидесятых к концу месяца мы переходили на кипяток с сахаром, но в начале месяца, придя в театр, в антракте пили шампанское и ели черносмородиновое мороженое. В 1961-м я приносила друзьям шоколад фабрики Микояна. К 1990-му шоколад из магазинов пропал. Еда

стала скудной и однообразной, колбаса — сплошной жир, сыра не было и в помине. Рынки поражали своим ассортиментом, невиданным в 1960-х: яблоки Кокс, груши Вильямс, но кто мог себе их позволить? У студентов никогда не было достаточно денег, чтобы покупать что-то на рынке, а к девяностым и профессора заглядывали сюда исключительно редко. В декабре 1990 года, когда я привезла в темный город группу студентов из Оксфорда и обнаружила, что Педагогический институт им. Герцена не позаботился об их питании, мне ничего не оставалось, как привезти всю группу к Соколовым — мы съели часть картошки из их запасов с привезенной нами в подарок колбасой.

Свобода СМИ — пресса и телевидение

Ленинград был по-прежнему узнаваем, улицы, магазины и переполненные троллейбусы остались прежними, толпы усталых людей после работы бродили по продуктовым в надежде купить что-то из еды, но теперь в городе происходило такое, о чем раньше и подумать было невозможно. Было странно наблюдать диссонанс между привычной городской средой и новым миром публичных выступлений и акций. Повседневная жизнь кое-как текла в привычном русле, но разговоры и пресса изменились до неузнаваемости — переливались всеми цветами радуги. Редакторы, журналисты и телевизионщики все так же работали в своих редакциях и студиях, получали зарплату, но обрели неизмеримо большую свободу делать что вздумается, чем их коллеги где-либо в мире. Им не нужно было оглядываться ни на кого — ни на владельца, ни на политических руководителей, ни на рынок. Их ограничивала только нехватка печатных станков и бумаги.

В 1990 году появилось великое множество газет и брошюр, часто плохо напечатанных и размноженных на ксероксе — иногда на очень толстой оберточной бумаге, выпускаемой какой-нибудь фабрикой, чтобы поскорее выполнить план по тоннажу, иногда чуть ли не на салфетках. Публиковались анархические тексты (как и следовало ожидать — очень плохого качества), какие-то листовки частных лиц, ежемесячные демократические и патриотические издания. В апреле на самодельных столиках у метро продавалось несколько наименований демократических

газет, в сентябре ларьки с прессой установили уже на Невском. И все же больше половины продавцов периодики предлагали самый популярный товар — учебники сексологии и астрологические прогнозы. Много было «патриотических» материалов о засилье евреев в российской власти с 1917 года. Однако на политические издания, неважно какого толка, спроса не было. В сравнении с разнообразием 1917 — начала 1918 годов, когда в политике тоже царил раскол и прессе предоставили удивительную свободу, предложение 1990 года было более скудным, даже с учетом ежедневных газет и новых еженедельных изданий. В апреле я, с приятным удивлением, купила «Черное Знамя» — анархическую газету, выходящую до революции, а в сентябре приобрела следующий номер у продавца в электричке — длинноволосого анархиста в лохмотьях. Содержание было так убого, что пожилые пассажиры заворачивали в «Черное Знамя» картофельную шелуху и возвращались к чтению «Известий».

Ярче всего этот невообразимый винегрет идей был представлен на экране телевизора. Талантливый тележурналист Александр Невзоров в своем ежедневном обзоре «600 секунд» рассказывал зрителям о событиях дня, в пух и прах разносил городские власти и провозглашал монархию лучшей формой демократии. Одна из передач началась роликом, где памятник Петру I стоит на постаменте из живых крыс. Крысы начинают шевелиться и статуя падает. Ролик повторяли несколько раз в сопровождении текста о «смутном времени», ожидающем город. В сюжете программы о городских властях появлялся дворец, где заседал Ленсовет. Это Мариинский дворец, расположенный недалеко от Невского проспекта на Исаакиевской площади, напротив величественного Исаакиевского собора. В программе дворец предстал перед зрителями искаженным миром, где мебель двигается сама по себе, люди скачут, как акробаты, повсюду летают бумаги, черный оскал черепа складывается в слово «власть», а главная героиня — уборщица — уныло протирает мебель и говорит, как хорошо было в старом Совете и как плохо в новом. Мэра Анатолия Собчака показали лишь черным силуэтом на фоне окна: он ругал депутатов. «600 секунд» была блестящей передачей, но смотреть ее было практически невозможно. Хотел ли Невзоров, “enfant terrible” телевидения,

просто эпатировать аудиторию или пытался подорвать авторитет Ленсовета? Если верно первое, то вот вам и весь его радикализм, а если второе — то он действовал на руку консерваторам, партийным аппаратчикам и, возможно, «патриотам».

В передаче «Пятое колесо» — очень смелой ленинградской версии «Панорамы» — показали несколько шокирующих интервью с матерями, сыновья которых погибли в армии от побоев сослуживцев и офицеров, а военное руководство не признавало своей ответственности за их смерти. Нескольким женщинам удалось добиться встречи с Ельциным (в какой-то момент зрители увидели, как он вытирает платком слезы). В другом сюжете депутат, член одной из комиссий Ленсовета, зачитал письмо, где мужчина угрожал облить бензином и поджечь себя и своего сына, потому что в райсовете им не выделяют жилья; еще один выпуск был посвящен условиям содержания в тюрьмах города.

В 1988 году сомневаться в завоеваниях Октября было недопустимо. А осенью 1990-го все называли революцию не иначе как «катастрофой». Собчак заявлял, что Ленин ошибался, считая, что «любая кухарка может управлять государством». Когда Невзоров в «600 секундах» спросил художника Глазунова, кого тот считает главным преступником двадцатого века, всем было ясно, что он ответит: «Конечно, Ленина». Ленина поливали все кому не лень, и не только на телевидении. Многие были возмущены и искренне расстроены таким отношением к революции 1917 года и советскому прошлому, но заранее предугадать чью-то реакцию было невозможно. Порой самые убежденные старые большевики становились самыми яростными критиками. Соц-опросы показывали, что пожилые люди не хотят переименования Ленинграда, и их можно было понять: они приехали в город бедными молодыми людьми из деревень в поисках своего счастья, получили здесь образование и работу, сражались в боях на войне или пережили блокаду и просто не готовы были признать эти годы потерянными. Большинство моих друзей поддерживали переименование, но некоторые коллеги и знакомые решительно возражали.

После столь долгого периода официальной правды (в которую многие верили), отказ от «святых истин» не мог не

оказаться болезненным процессом. Ленин, чей добрый, заботливый, мудрый образ был всем знаком по миллионам книг и плакатов, превратился в жестокого фанатичного убийцу интеллигентов и священников. В 1990-м большой популярностью пользовался сборник цитат, тщательно отобранных из работ Ленина, демонстрировавших его ненависть к представителям интеллигенции. Немного забегаая вперед, упомяну также вышедший в 1992 году и широко разрекламированный фильм «Россия, которую мы потеряли», где прекрасные времена последних лет царской власти составляли ужасный контраст с сегодняшними очередями стоявших за пивом алкоголиков в провинциальных городах. К 1993 году тему подхватили писатели. Книгу Солоухина о психическом нездоровье Ленина быстро раскупили. Набирал популярность образ Столыпина — консервативного министра царского правительства, погибшего в результате покушения в 1911 году, — которого стали называть героическим государственным деятелем, успешно возрождавшим отсталое сельское хозяйство в России. В 1990-м широко обсуждали убийство царской семьи. Ходили слухи, что сын солдата-большевика, расстреливавшего царя, все еще живет в Ленинграде... О последних днях царской семьи сняли фильм «Цареубийца», и когда Малколм Макдауэлл, который сыграл в нем роль расстрелявшего царя чекиста, заявил в телеинтервью, что считает своего героя убежденным большевиком и идеалистом, это многих покорило. Мне стало надоедать, что все ждут от меня какого-то особого сочувствия в отношении царской семьи. Чем Романовы отличались от бесчисленных других семей, также ставших жертвами революции? На руках царя было больше крови, чем у многих. Мы с Эльмаром ругались по этому поводу.

Шла умелая кампания по нагнетанию социальной напряженности и уныния. Сенсационные криминальные репортажи — на экране зрители видели то труп убитой в парке женщины с торчащим в спине ножом, у которой молодой полицейский берет образцы грязи из-под ногтей, то обожженное тело на крыше дома, возле которого стоит журналист и спрашивает: «Что это — самоубийство или кое-что пострашнее?» — сеяли страх, особенно среди женщин, и убеждали, что жить в городе стало опасно. Конечно, на улицах было уже не так спокойно, как

в шестидесятых, когда женщине угрожали разве что приставания редких пьяных. На Эльмара напали у входа в подъезд и отняли дипломат (в котором ничего, кроме отпечатанной статьи, не было). Милиция и старушки были уже далеко не так, как раньше, заинтересованы в поддержании порядка, и преступность росла. Повышенный интерес к преступлениям и насилию также являлся эмоциональной реакцией на ситуацию высокой степени тревожности и неопределенности относительно будущего.

К концу 1990-го в СМИ царили обреченность, уныние, разложение и кризис. На телевидении мрачные картинки перемежались (только представьте!) *рекламой*: ускоренных курсов английского, малых серебрястых пуделей, уроков кунг-фу, домов отдыха, нового кооператива «Планета», специализирующегося на компьютерах. Предлагались вознаграждения нашедшим украденную машину или собаку.

Бурная активность наблюдалась не только на телевидении, новые формы искали и художники, и актеры. Андрей познакомил меня с Николаем Беляком, создателем экспериментального «Интерьерного театра», в то время размещавшегося в двух арендованных квартирах на верхнем этаже дома XVIII века, когда-то принадлежавшего поэту Державину. В две квартиры втиснулись гардероб, реквизиторская, офис и студия, где шли спектакли. Окружающее пространство — важнейший элемент спектаклей Беляка. На тот момент режиссер планировал организовать в «Доме Державина» центр культуры XVIII века и поставить «Гамлета» в фойе здания КГБ на Литейном. В тот вечер в 1990-м он рассказывал, что хочет создать «Космическую культуру»: космонавты будут из космоса читать стихи для зрителей на земле, связывая землю и космос культурными волнами. На старой русской печке стояла огромная ваза серых хризантем, стены покрывали театральные афиши и рисунки сына Беляка, а сам он, пока говорил с нами, молот кофе.

Я, как и Андрей, целый день ничего не ела, но еда могла подождать и до завтра. Или, как в случае Андрея, без нее вообще можно было обойтись. В 1991-м он питался только хлебом, кофе и крепкими сигаретами. На то, чтобы бегать в поисках продуктов и стоять в очередях, было слишком жалко времени. Однажды мы четвером отправились в «Дом Державина» на спектакль, но

его внезапно отменили. Мы стояли на пронизывающем ветру и решали, что делать. Кто-то из компании отошел и встал в полчасовую очередь за сосисками в магазине неподалеку. «Может, выпьем по чашке кофе?» — не подумав, сказала я, и друзья смущенно посмотрели на меня. В 1991 году в Ленинграде выпить кофе нельзя было нигде, кроме гостиниц с валютными ресторанами, но туда никто не ходил. Зато собраниям не было числа.

Бесчисленные собрания

В апреле 1990-го мы с Эльмаром пошли в какую-то квартиру на собрание «Свободной России» — группы примерно из двадцати интеллектуалов, которые хотели объединить русскую национальную культуру и традиции с демократическим строем, чтобы противостоять партийному аппарату и крайне правым. Здесь я впервые услышала чью-то фразу: «Я не против восстания самодержавия». Другой, аккуратный, хорошо одетый человек в костюме-тройке, оказался представителем партии кадетов, приехавшим из Москвы. Кадеты (конституционные демократы) — одна из самых известных либеральных партий в дореволюционной России. В Петербурге вскоре появилась собственная небольшая партия кадетов, ее возглавил физик Александр Козырев.

В сентябре на встрече демократических организаций в одном из дворцов культуры, где собравшиеся так и не смогли выработать стратегию объединения и совместных действий, я оказалась в знакомой обстановке. Люди в джинсах и темных свитерах, попытки отстоять принципиальные позиции своей группы и, в то же время, сотрудничать с другими, обсуждения, перескакивающие с организационных вопросов на теоретические — все это было очень похоже на собрания левых в Англии в шестидесятых или «Студентов за демократическое общество» в США. Хотя отличия, конечно, были, особенно в сравнении с Англией, где левые группы опирались на четко сформулированные идеологические позиции, культурное и политическое прошлое. Демократическим организациям Ленинграда опираться было не на что: ни политического языка, ни организационного прошлого они не имели. Классы и социализм отменили. Неприятие

существующего строя — это не политическая позиция, а приверженность демократии — слишком общее определение. «Переход к рынку» не тот лозунг, который способен увлечь собравшихся. На мартовских выборах демократам удалось достичь соглашения по многим вопросам и объединиться вокруг «народного фронта», но к сентябрю ушел целый пласт ведущих активистов — они полностью посвятили себя депутатской работе. Политическая деятельность широких масс пошла на спад, и новые, теперь уже зарегистрированные политические партии обнаружили, что у них очень мало членов.

9 сентября на Дворцовой площади собрался многотысячный митинг одной из правых организаций, выступавшей за возврат к традиционным ценностям и переименование города. Митингующие вели себя тихо, бросалось в глаза отсутствие милиции и солдат. Лишь один из выступавших попытался поднять тему антисемитизма, а три ведущие городские газеты поместили материал о митинге на первой странице. Даже самая косная из трех — партийная газета «Ленинградская правда» — напечатала фотографию, на которой был виден плакат «С нас довольно Ленина!». А «Смена», ставшая к тому времени радикальной комсомольской газетой, поместила фотографию парня, прикрепляющего плакат к кованым воротам Зимнего. Это те самые ворота, которые в фильме Эйзенштейна «Октябрь» преграждают путь толпе рабочих, пока — незабываемая сцена — матрос не влезает на них и не распаивает перед хлынувшей толпой, заполняющей великолепные лестницы и залы в поисках оставшихся членов Временного правительства. Неважно, что штурм Зимнего в картине Эйзенштейна мало похож на реальные события. Сами ворота и то, что они символизировали, были абсолютно реальны, и сцена стала хрестоматийной. В сентябре 1990-го юноша снова брал ворота на абордаж, чтобы закрепить лозунг «Октябрь 1917 — путь на Голгофу!».

Но что, кроме символических ассоциаций, сбивало меня с толку? Конечно, заявления и поведение, никогда прежде на моей памяти не проявлявшиеся публично (для многих они были немыслимы даже в кругу семьи или близких друзей), а еще скорость, с которой они стали *обычными*, приемлемыми, непреложными.

Возрождение религии

Образованных и голодных людей в городе было множество, а вот идей, предлагаемых реально действующими организациями, практически не существовало. Неудивительно, что некоторые потянулись к религии. Заходя в храмы города, я бывала поражена, что вокруг них уже начинали складываться сообщества (которых в большинстве других сфер деятельности и не предвиделось). Церкви сияли, полы были чисто вымыты верующими старушками, в Никольском соборе установили памятную доску экипажу погибшей в Норвежском море подводной лодки «Комсомолец». Гиды подробно рассказывали туристам о гонениях большевиков на церковь, о разрушенных храмах и убитых священниках. Однако многие храмы до сих пор использовались в качестве мастерских, складов, кинотеатров или даже бассейнов (как Лютеранская церковь на Невском). Храмы на Васильевском острове редко были интересны с архитектурной точки зрения. Самый красивый из них — Андреевский собор, возведенный в XVIII веке, в эпоху становления северной столицы. Строительство элегантного собора, расположенного на пересечении Большого проспекта и застроенных домами XVIII века улиц, ведущих к Неве, возле Андреевского рынка, завершилось в 1780 году. В 1938-м храм был закрыт, а в 1992-м — возвращен Санкт-Петербургской епархии и вновь открыт, началась его реставрация.

В последующие двадцать лет церкви постепенно восстанавливаются. В 1990-м Ленинградскому обществу буддистов вернули (на условиях аренды) буддистский храм недалеко от Каменного острова, в нем начались ремонтные работы. Закипела жизнь и в синагоге: теперь в ней размещался детский сад, национальная еврейская школа (для детей от 7 до 17 лет), кафе и библиотека. Станет ли религия снова обязательным школьным предметом? В 1990 году это казалось весьма вероятным.

Прошлое никак не хотело отступать. В годы кризиса и неопределенности оно может стать единственной опорой. Консерваторы в партии отчаянно цеплялись за советские реалии, те, кого они больше не устраивали, пытались найти что-то еще. Этнические, культурные, религиозные связи стали ремнями

в трамвайном вагоне, чем-то, за что можно ухватиться в обществе, где почти не было групповой самоидентификации, а бывшие авторитеты были развенчаны. Однажды воскресным утром мы с друзьями поехали за грибами. В лесу было зелено и сыро, и мы весь день собирали грибы, не встретив ни единой живой души. Но когда мы расположились на каких-то бревнах, чтобы пообедать — крутые яйца, хлеб, сыр и водка — на опушку вышли двое, высокий бородатый молодой человек и его мать, и стали спрашивать, как пройти к озеру. Мужчина из нашей группы, славянофил, обратился к парню с вопросом: «А вы, случайно, не монархист? Выглядите так, словно у нас с вами одинаковые убеждения». — «Да», — подтвердил юноша, и они ушли. В шестидесятых монархисты не разгуливали по лесам, собирая грибы.

Коммунистическая партия не собирается уступить

Политическая борьба в стране не прекращалась. Партия, хотя частично и сдала свои позиции, но продолжала контролировать ключевые властные институты и ресурсы, политическое будущее было туманным. Ленинградский обком партии располагался в здании Смольного — престижного «Института благородных девиц», занятого большевиками в 1917-м, рядом с бело-голубым Смольным собором на берегу Невы. В начале шестидесятых сюда еще водили туристов и группы школьников, чтобы показать спальню Ленина, но в семидесятых здание закрыли, выставили охрану, по проспекту полетели черные чиновничьи автомобили, для первого секретаря построили отдельную дорогу. Отсюда управляли городом, через железную решетку забора просачивались флюиды власти. После выборов 1989 и 1990 годов позиции партии пошатнулись, но финал наступит только в августе 1991-го.

В сентябре 1990 года знакомый журналист организовал для меня интервью с секретарем Ленинградского обкома КПСС по идеологии Юрием Беловым. За все годы изучения советской политики мне ни разу не удавалось поговорить с секретарем обкома партии — эти влиятельные люди были слишком заняты, чтобы встречаться с западными учеными. Теперь же Смольный больше

напоминал морг. В фойе было пусто, две пожилые женщины в безупречно чистом гардеробе стерегли с десятков пальто. Шепотом переговариваясь, мы по свободной, покрытой красным ковром лестнице попали в длинный безлюдный коридор. В двери кабинетов никто не входил и не выходил. Не было дрожащих директоров заводов, грызущих ногти журналистов. К кабинету тогдашнего первого секретаря Бориса Гидаспова вел длинный пустой белый коридор, в котором в 1934 году был убит Киров. В просторной приемной Белова никого, кроме секретаря, не было. Появился Белов, попросил нас подождать несколько минут, а потом пригласил в кабинет. Сказав, что может уделить мне только полчаса, поставил перед нами на стол часы. Был ли он так уж занят?

У Белова была репутация «прогрессивного» партработника «нового типа», которую он поддерживал, щеголяя аккуратной бородкой, но предложить какую-то программу действий для деморализованной и ушедшей в оборону партии он не мог. В конце 1990 года партийный функционер мог либо придерживаться изжившего себя *status ante quo*, либо рассуждать о роли партии в многопартийной системе, о «сохранении социалистических идеалов». Гораздо важнее для них была борьба за сохранение максимального контроля над партийными ресурсами (деньгами, зданиями). Весной 1991 года от Белова поступило предложение: не хочу ли я поговорить с ним об идеях Ленина на радио? Я была согласна с условием, что полчаса мы уделим сегодняшней политической обстановке — это ему не понравилось. Время шло. Началась кампания по выборам президента России.

Рабочий комитет Кировского завода организовал во дворце культуры митинг в поддержку Ельцина. Все было намного масштабнее, чем в зале клуба, где мы праздновали годовщину Октябрьской революции в 1961 году. В огромном фойе яблоку негде было упасть. Когда мне удалось протиснуться в зал, присесть можно было только на полу. Повсюду были развешаны плакаты «Солидарности» и пророссийские лозунги, на сцене сидели видные представители ленинградских демократов, председатель рабочего комитета и директор завода. Появившегося Ельцина приветствовали стоя. К своему удивлению, я почувствовала к нему симпатию. Хотя он не был великим оратором, но в считанные минуты смог установить контакт с аудиторией, говорил

открыто и с юмором. Менторского тона, которым отличались все советские политики, включая Горбачева, не было и в помине.

Итак, через тридцать лет моя работа снова привела меня на большие промышленные предприятия. Директора, так же как и в шестидесятых, имели большой авторитет, но одевались иначе и были озабочены совершенно другими вещами. Теперь они носили хорошо пошитые костюмы или замшевые пиджаки и пытались либо выбить как можно больше государственных средств на модернизацию своих заводов, либо приватизировать их, что давало им право покупать и продавать продукцию, а также заключать договоры. Безработицу они считали маловероятным явлением и не принимали ее в расчет. Рабочие реагировали на меняющуюся ситуацию совсем не так, как члены польской «Солидарности». Редко советы трудовых коллективов или рабочие комитеты конкурировали с официальными профсоюзами. Резолюции собраний их представителей гораздо откровеннее критиковали руководство, чем когда-либо раньше, но рабочий комитет Кировского завода и другие рабочие-активисты, с которыми я встречалась, были скорее исключением из правил. Представители профсоюза шахтеров Кузбасса, приехавшие в надежде на поддержку, мало что могли получить, кроме сочувствия.

Если Смольный напоминал морг, то в Мариинском дворце на Исаакиевской, где заседал Ленсовет, жизнь была ключом. Находясь в Петербурге, нельзя не прийти на Исаакиевскую площадь — здесь стоит Манеж (в прошлом — школа верховой езды, сейчас — выставочное пространство), гостиницы: пятизвездочная «Астория» и «Англетер», откуда можно увидеть здание Главпочтамта. Фасад Мариинского дворца ничем особенным не выделяется, но его интерьеры великолепны: стены в благородных классических цветовых гаммах, красные ковровые дорожки на мраморных лестницах, лабиринты коридоров. Есть даже удивительная винтовая лестница, по которой можно было съехать верхом на лошади с шестого этажа на первый. Большой зал заседаний отделан со вкусом, для зрителей устроены ложи, откуда можно наблюдать заседания. Я невольно всегда выбирала ту, из которой был наилучший обзор — ложу, в советские времена закрепленную за первым секретарем партии. В начале девяностых любой мог прийти и понаблюдать за заседаниями Ленсовета.

В других своих книгах я подробно рассказывала о политических дебатах, решениях, попытках более чем четырехсот депутатов, не имевших опыта демократической политической деятельности, решить самые насущные проблемы города, поэтому не буду подробно останавливаться на работе совета. «Все должно быть приватизировано», — сказал мне радикальный демократ Петр Филиппов. «Школы, больницы?» — спросила я. «Несомненно». — «А университеты, исследовательские институты?» — «Ну, может и не совсем все». В 1990-м это были только слова. В 1991 году приватизация была уже на повестке дня. Недавно созданная Комиссия по правам человека приняла решение сосредоточить свою деятельность на правах детей, свободе вероисповедания и тюрьмах, но оказалась завалена письмами и жалобами, большинство из которых касалось самого сложного вопроса — отсутствия жилья. Шесть человек могли жить в одной комнате в коммуналке и по 18 лет стоять в очереди на квартиру, но почему-то партработники и судебные чиновники всегда оказывались перед ними.

— Можно ли сказать, что ваша Комиссия в первую очередь защищала социально-экономические права? — много лет спустя спросила я у председателя Комиссии Юлия Рыбакова.

— Да. И вообще наша Комиссия стала скорой помощью по всем вопросам. Это было и отсутствие лекарств — люди умирают, а лекарство есть, но лежит на складе, за него надо платить взятки. <...> Значит, надо было поехать и добиться, достать. <...> Продовольствие — точно так же. Был случай, когда мне пришлось усмирять бунт курильщиков. Вдруг во всех магазинах города исчезли все папиросы и сигареты, а курильщики — народ нервный. Я случайно находился на Фонтанке в Доме Дружбы, где проходило правозащитное мероприятие. Ко мне прибегает помощник и говорит, что Невский перегородили баррикадой из-за того, что в табачном магазине сейчас будет драка. Я бегу туда. Народ волнуется. <...> Я вызвал других депутатов, и мы распределились. Я остался на Невском... а другие поехали по каким-то складам срочно найти папиросы. И они через два часа привезли грузовик, стали продавать. Но два часа надо было успокаивать людей, которые там стояли, а с другой стороны милицию, которая очень хотела их побить.

Депутаты могли сами выбирать — оставаться ли им на своей работе и получать там зарплату или уволиться и получать зарплату в Ленсовете. Леонид Романков уволился и вошел в состав комиссии по культуре. Большинство депутатов проводили в Совете дни напролет, работы было очень много. Но были и некоторые льготы: депутаты могли питаться в кафе вместе со всеми работавшими в здании Совета. Это была стандартная практика для советских учреждений, и чем выше был статус организации, тем лучше кормили в буфете. Один из депутатов пригласил меня на обед, с трудом пропихнув мимо строго охранявшей вход женщины-администратора. Зря он это сделал. Разнообразие и качество блюд — прекрасные салаты, два вида отличного супа, свежие булочки с клюквенным джемом, три горячих — не шли ни в какое сравнение с меню в других кафе города. Столы — чистые, посуда — целая, в буфете можно купить фрукты и копченую колбасу. Все — секретарши, гардеробщики, депутаты-консерваторы и депутаты-демократы — выходили из буфета с коричневыми бумажными пакетами. Я была потрясена — почему новый Совет не проголосовал за то, чтобы поменьше выделяемыми ему продуктами с больницей или домом престарелых!? Но в 1990–1991 годах всем хотелось есть.

Коммунистическая партия сходит со сцены

Как реагировали мои друзья на складывающуюся неблагоприятную для партии ситуацию? Галина просто вышла. Эльмар — нет. В политической деятельности он всегда выступал в роли заинтересованного наблюдателя. Ему никак не удавалось определить, с какой из новых политических групп ему по пути, он был неспособен принять какие-либо религиозные догматы и никогда не принимал активного участия в работе какой-нибудь организации. Ему гораздо больше нравилось проводить дискуссионные вечера в Доме ученых, приглашая туда выступающих самых разных убеждений. И почему, говорил он, я должен выйти из партии именно сейчас? Деятельность партии он никогда не одобрял, и выйти из нее означало сделать некое нравственное или политическое заявление. Не хочу ли я побывать на партсобрании в Институте культуры? Он мог бы

объяснить секретарю, что я — ученый и изучаю российскую политику.

На собрании стало очевидно, что у «партийных масс» не было ничего, даже отдаленно напоминающего политические убеждения. Как обычно на любом собрании или лекции в СССР, люди тихо переговаривались, показывали друг другу газеты, схемы вязания и фотографии приехавших племянников. С десятков заявлений о выходе из партии были одобрены без вопросов, причины были самыми разными — например, невозможность одновременного преподавания литературы и принадлежности к политической партии. Пожилой коммунист заметил, что в демократическом государстве преподаватели литературы могут принадлежать к политическим партиям. «Правда?» — шепотом спросил у меня сосед. Все шло как обычно, и чье-то предложение обсудить роль партии в сложившейся экономической и политической ситуации не вызвало ни малейшего интереса. Желающих выставить свою кандидатуру на выборах в члены партбюро и на должность секретаря практически не было, а просьба молодого симпатичного секретаря об освобождении от выполнения обязанностей, поскольку он пишет докторскую, была удовлетворена. Все голосовали практически за все, а когда были объявлены результаты альтернативных выборов, их утвердили единогласно. У меня сложилось впечатление, что большинство членов партии не выходили, поскольку не были уверены, что это разумно; кто-то — потому что не видел ничего привлекательного в других партиях; некоторые, хотя и были критически настроены, считали, что уйти сейчас будет признаком трусости; и наконец, очень немногие не хотели покидать партию, в дело которой верили всегда.

Тридцатилетние вступали на политическую арену, а вот студенты политикой практически не интересовались. Проводились ли в студенческих общежитиях в 1990 году собрания для обсуждения ситуации в Восточной Европе или решений партийного съезда? Думаю, нет. Летом 1989-го слабая волна протестов против обязательного прохождения военных сборов, заменявших для студентов службу в армии, быстро затихла после уступок Министерства обороны, а недовольство отправкой студентов «на картошку» в сентябре устранили введением платы

за работу. В новые политические организации вступали очень и очень немногие. Вот что мне рассказал один человек, много лет спустя ставший активистом:

Тогда мало кто из студентов интересовался политикой, и я в том числе. Страна менялась прямо на глазах, и каждый был озабочен собственной судьбой больше, чем судьбой страны. Ты видел, насколько лживой была система, как старая система исчерпала себя, а новой системы пока не было, и было не ясно, появится ли она когда-нибудь. Естественно, все сомневались. Надо было заниматься бизнесом, зарабатывать, чтобы не умереть с голоду.

В чем-то, несмотря на все различия в социальном строе и политической ситуации, эти люди были похожи на «детей эпохи Тэтчер»: они ничем не были обязаны обществу, хотели (и чувствовали, что имеют на это право) хорошей жизни для себя и, если Россия не может ее обеспечить, стремились уехать на Запад. Но кто мог их обвинить? За годы изоляции Запад стал навязчивой идеей. Их преподаватели наперегонки старались получить приглашения в Париж, Нью-Йорк и Лондон (и их тоже — кто мог обвинить?). Родители беспокоились за будущее детей и поддерживали их желание уехать.

Вновь избранные депутаты Ленсовета разъезжали по разным странам на обучающие семинары или обсуждения контрактов с западными фирмами. Леонид показывал мне программу пребывания, предложенного крайне правым американским фондом: встречи на высшем уровне с отцами города, «люксовое» размещение для директоров и сопровождающих их жен. «Ты что-нибудь знаешь об этом фонде?» — спросил он. Когда я со вздохом ответила, что никогда бы не притронулась к их деньгам, он мягко возразил: «Проблема в том, что у нас нет выбора». У меня упало сердце. Друзья моей юности, остававшиеся верными своим принципам, высоко ценившие ум и культуру все эти годы, теперь развлекали крайне правых эмиссаров, ничего не знавших о городе и живших в нем людях и превыше всего ставивших свободу предпринимательства. Реакция на столь плохо работающую систему часто была чрезмерной: все было

государственным и не работало, а когда станет частным, то будет работать отлично.

Через пять лет я оставлю научную деятельность и перейду в Фонд Форда — один из самых богатых фондов Америки. И да, когда я привела президента Фонда и членов Совета попечителей в Петербург, они останавливались в «Гранд Отель Европа» на Невском, но Фонд поддерживал российские организации, работающие в области прав человека, искусства и культуры, СМИ и высшего образования. В 1996 году Фонд выделит средства новому вузу — Европейскому университету в Санкт-Петербурге, созданному Борисом Фирсовым и его коллегами из академических институтов для подготовки нового поколения историков и социологов. Но пока на дворе 1991 год, и Ленинград все еще Ленинград.

* * *

Ранним утром 19 августа 1991 года начальник сектора социологии общественных движений Института социологии Владимир Костышев позвонил своим коллегам и сообщил новость: пока Горбачев находился на отдыхе в Крыму, его коллеги из Политбюро объявили о своем решении отстранить его от должности президента и взять власть в свои руки. У Костышева было назначено посещение стоматолога. В приемной врача все сидели молча, и только администратор, перебирая карточки пациентов, заметила: «Это и к лучшему — теперь в стране хоть какой-то порядок будет». Костышев ушел — сначала в магазин за книгами, которые могут исчезнуть навсегда, а потом — в Институт, чтобы поговорить с коллегами и решить, что делать. Первым делом нужно было сохранить компьютеры и ксерокс, а потом — архив Андрея. Но как вынести тяжелые сейфы? Андрей был в отпуске, так же как и секретарша, а ключа они не оставили. Позвонили коллеге, находившемуся в этот момент в Мариинском дворце: не сможет ли он достать там грузовик? В своих поисках тот забрел в комнату заседаний комиссии по общественно-политическим организациям и наткнулся на группу печальных депутатов, сидевших над грудями документов. «Вы что делаете?» — спросил он. Ему объяснили, что депутаты считают своей обязанностью

уничтожить документы, ведь там упомянуто множество людей. Сначала хотели разжечь костер во дворе, но подумали, что столб дыма их выдаст; потом попытались жечь в мужском туалете, но побоялись пожара. Кто-то предложил съесть бумаги, однако их было слишком много. Молодой социолог пошел дальше искать грузовик, оставив их решать эту проблему.

На календаре был август — месяц самых непопулярных властных решений, многих не было в городе, в том числе и Эльмара с семьей. Галина гостила у сестры в Москве. Они пошли раздавать еду и воду ничего не понимающим солдатам на танках, въезжавших в город, и просить их не стрелять. Андрей ехал в поезде домой в Ленинград из северокавказского заповедника. В купе молча прослушали объявление по радио. Андрей решил, что самым разумным будет проспать ближайšie двадцать четыре часа, чтобы сохранить силы для будущих действий. Оказавшись в городе вечером 20-го, вскоре после полуночи он, после обращения Собчака ко всем физически крепким мужчинам, пошел к Мариинскому дворцу, чтобы молча протестовать, если появятся танки. В тот момент, рассказывал он, он почувствовал себя свободным: он больше не боялся будущего, каким бы оно ни было. У Мариинского стоял и Костышев с молодыми коллегами. В Москве, где разворачивались основные действия, оппозицию возглавил Ельцин из «Белого дома» — дома правительства, куда стекалось, окружая введенные танки, все больше и больше народа. А к 21 августа путчисты окончательно пали духом, и все закончилось. Костышев пошел лечить зубы. Борис Фирсов созвал в Институте собрание и публично объявил о своем выходе из партии.

6 сентября праздничная толпа, шедшая по Невскому к Дворцовой площади, приветствовала переименование города в Санкт-Петербург. Смольный после роспуска партии пустовал, и Собчак перенес туда мэрию. «По крайней мере, пока», — сказал он. Через год я шла в Смольный по дорожке, у которой все еще стояли два больших бюста Маркса и Энгельса, через забитую машинами парковку. Охраны не было, но Ленин в развешиваемом пальто на своем пьедестале все еще указывал путь в сияющее будущее. В фойе опять было полно народа. Зачем я туда шла? Терпение, читатель, терпение.

Часть II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ГОРОД
НА РАСПУТЬЕ. 1991–1994

Глава 6

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

В канун православного Рождества, 6 января 1993 года, в Таврическом дворце состоялся Рождественский бал. Церемонию праздника показывали по телевидению. Вначале военный оркестр, в костюмах XVIII века, прошествовал во главе вереницы конных экипажей к бело-синему Смольному собору. Гости в дорогих шубах прослушали хоровые духовные песнопения. Затем зазвонили колокола, батюшка благословил присутствующих, и процессия двинулась из храма к сияющему огнями дворцу. Гостей встречали ливрейные лакеи. Праздник спонсировали магазин «Вавилон» и производители водки Smirnoff («самой чистой водки в мире»). Среди гостей были бизнесмены, банкиры, заплатившие за входной билет по 100 000 рублей (около 200 долларов) и деятели культуры, получившие бесплатные приглашения.

Организаторы, тоже в костюмах XVIII века, пытались создать праздничную атмосферу: громко приветствовали гостей, танцевали вальс и принимали картинные позы, опираясь на перила балкона. Председатель Ленсовета Александр Беляев провозгласил первый тост от имени города (мэр Собчак, должно быть, был за границей) и неловко повел на первый танец даму в бальном платье XVIII века. Большинство гостей — лет тридцати-сорока — выглядели очень по-деловому, некоторые в смокингах, большинство — в темных костюмах, некоторые женщины в элегантных платьях, но законодателей мод среди них не было. И не удивительно: бывший партийный секретарь объяснил мне, что по большей части здесь собрались бывшие партийные и комсомольские деятели — люди со связями, теперь сплошь банкиры и бизнесмены. Сидя за столами в великолепной бальной зале, они ели и пили, смотрели развлекательную

программу (выступали разнокалиберные певцы), а над их головами по стенам были развешаны громадные плакаты «Вавилона» и Smirnoff. В парке устроили салют.

Так ли представляли себе возвращение Санкт-Петербурга собравшиеся на Дворцовой площади в 1991 году?

Таврический дворец — прекрасное здание XVIII века в центре города, окруженное парком, — был выбран не случайно. В истории города он занимает особое место. В 1917 году здесь располагался Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. В январе 1918-го в нем собрался единственный всенародно избранный орган — Учредительное Собрание, разогнанное матросами-большевиками. После революции во дворце размещался Рабоче-крестьянский университет, а потом — Ленинградская высшая партийная школа. В 1990-м Школа шла в ногу со временем. Хотя в ее стенах все еще получали высшее образование партийные и советские деятели, а также работники СМИ, появились планы по ее преобразованию в Институт политических наук, открытый для всех и с выдачей государственных дипломов. Ладный сорокалетний заведующий кафедрой политических наук, приехавший в сентябре 1990-го за мной на своей «Волге» с шофером, был энергичен и уверен в себе. Времена изменились, в Школе висели объявления о лекции британского специалиста по политической системе России, зал был полон партийных и советских работников — большинство из них лет тридцати, — наверняка пока не уверенных, как сложится их будущая карьера. Я попросила показать мне, где в 1917 году заседал Петроградский Совет — прокуренный зал заседаний рядом с большой бальной залой, набитый солдатами и рабочими, где Ленин впервые объявил о готовности партии взять власть. Ряды располагались точно так же, как в 1917-м, внезапно точно ожили старые фотографии. У меня голова пошла кругом. Место, где было объявлено о революции, потом партийная школа, а теперь вдруг, практически без предупреждения — Институт политических наук? В сентябре 1990-го мой сопровождающий мог показать кресло, на котором обычно сидел Ленин. В декабре, когда я снова оказалась во дворце с группой студентов из Оксфорда, гид рассказывал о зале в царские времена, но ни словом не упомянул революцию, и никто не знал, где сидел Ленин.

После провала августовского путча 1991 года на Таврический дворец претендовало несколько организаций. Высшая партийная школа, преобразованная теперь в Северо-Западную академию государственной службы, никуда не делась, но обнаружилась, что у нее есть конкурент — Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. Шли разбирательства, студенты устраивали пикеты, но решения все не было. В начале 1993 года группа политиков-демократов, выступавших за определение будущего страны Учредительным собранием, решила провести в Таврическом дворце конференцию 17 января — в день разгона Собрания в 1918 году. В газетах появилось соответствующее объявление, но было необходимо разрешение от председателя Верховного Совета в Москве. Связаться с ним по телефону не удалось. Один из организаторов поехал в Москву, два дня просидел в приемной и получил отказ. В результате в последний момент, когда было уже поздно публиковать объявление об изменении места проведения, конференция, с согласия горсовета, открылась в Мариинском дворце.

Процесс подготовки был типичен для политических маневров 1993 года, как, к сожалению, и собственно конференция. Собчак, в ярко-красном пуловере под спортивным пиджаком, попросил собравшихся почтить минутой молчания память расстрелянных 75 лет назад большевиками демонстрантов, а затем выступил с речью, приведшей аудиторию в замешательство. Многие из четырехсот делегатов, собравшихся в первый день — активисты, политические обозреватели, журналисты из Петербурга и Москвы, а также немногие из регионов — хотели обсудить конституционное устройство страны, а не говорить об Учредительном собрании. Елена Боннер (вдова Сахарова) начала с выражения недовольства тем, как изменился город со времен Великой Отечественной войны, — утром в метро кто-то бросил ей: «Почему бы таким, как вы, не убраться в Израиль?» После первого заседания многие ушли, и обсуждения, в ходе которых предполагалось выработать предложения, в большинстве своем не состоялись. На следующее утро в зале было уже человек на пятьдесят меньше. Люди входили и выходили. Но в 2 часа внезапно появились члены оргкомитета и устроили пресс-конференцию. Они выразили надежду, что конференция

порекомендует созвать Учредительное собрание и создать комитет по его организации. По отзывам в прессе, конференция прошла успешно. «Старые привычки живучи, — мрачно подумала я, — даже у политиков, сражавшихся против руководящей роли партии, и в условиях свободы прессы».

Я начала с описания этих событий, поскольку они иллюстрируют как неслыханные изменения, происходившие у нас на глазах, так и хаос, неразбериху и ожесточенные споры вокруг власти, столь характерные для города, вновь ставшего Санкт-Петербургом. После распада СССР России была необходима новая конституция. В январе 1993 года она все еще была предметом бурных обсуждений. Ельцин и Верховный Совет находились в оппозиции. В марте 1993-го Собчак, в ответ на обращение Ельцина к народу, объявил о проведении митинга в поддержку президента, в 17:30 на Дворцовой площади. Было самое начало весны, я шла по набережной и через мост и была приятно удивлена количеством людей, движущихся в одном направлении. Мне казалось, что придет гораздо меньше. Но в результате собралось две или три тысячи человек и горстка коммунистов, выкрикивавших оппозиционные лозунги. Пришли самые разные люди, в том числе молодежь, атмосфера была благодушной. Собчак, которому выступления перед толпой удавались лучше всего, высказывался в антисоветском и антикоммунистическом ключе. Ничего нового он не говорил, но особенно вдохновляющих новостей просто не было. За ним выступали артисты, депутаты, даже представитель Кировского завода. Это воодушевляло. Люди были готовы участвовать. Но, возможно, Собчак тоже не был в этом уверен? На следующий день я узнала, что, как в лучшие советские времена, в Смольном распространили указание всем сотрудникам быть на митинге на Дворцовой. Пришли ли они? Надеюсь — нет.

Однажды ранним июньским вечером мы с Галиной гуляли по набережной Мойки недалеко от Дворцовой площади. У двери одного из великолепных домов стоял на страже милиционер. «Иностранное консульство», — мелькнула у меня мысль, но тут у подъезда остановилась белая «Волга». Из нее быстро вышел Собчак в сопровождении охраны. «Людмила уже дома?» — спросил он у милиционера и направился к лифту. Значит, Собчак купил квартиру на Мойке, напротив квартиры

Пушкина. «Политика, — подумала я, — приобретает свои привычные черты».

Город бурлил, но к лету 1993-го политическая деятельность в основном сосредоточилась в Смольном, где размещалась мэрия, и в Мариинском дворце, где заседал городской совет. Активисты-демократы встретились, чтобы возродить дискуссионный клуб «Перестройка», но не смогли выработать плана действий: каждый тянул в свою сторону. Время от времени на Невском устраивали марши небольшие колонны коммунистов или правых патриотов Невзорова. На Дворцовой площади могли собраться человек сто патриотов. Они очень активно торговали своей литературой, часто расистской и антисемитской направленности, располагаясь на тротуарах вдоль Невского перед Гостиным двором. Милиция разгоняла торговцев порнографией, но патриотов обычно не трогали. В Доме ученых могли собраться монархисты, требовавшие восстановления монархии, или конференция «историков-ревизионистов» могла обсуждать подлинность «Протоколов сионских мудрецов». Но, хотя раздавались голоса, предупреждавшие о растущей опасности выступлений правых против меньшинств города (евреев, азербайджанцев, всех «черномазых»), еще очень мало кто поддерживал патриотов. Да и у демократических политиков города сторонников было едва ли больше. Рядовым жителям было сложно понять, делает ли горсовет или мэрия что-то для того, чтобы помочь им выжить, не говоря уже — улучшить их жизнь. Мало кто нашел спасение в новых политических убеждениях или православной религии. Гораздо большей популярностью пользовались спиритизм, паранормальные явления и астрология. После выпусков новостей пожилой мужчина с длинной бородой и молодая девушка — оба в черных мантиях и квадратных академических шапочках — по очереди зачитывали гороскоп на завтра.

Теперь я много ездила по стране, сравнивая политические изменения в нескольких российских регионах, и в сентябре 1993 года, когда Ельцин объявил о роспуске Верховного совета РФ, я была в Казани — столице Татарстана. Члены Верховного совета забаррикадировались в «Белом доме», их сторонники попытались захватить Останкино, на улицах начались стычки, и Ельцин ввел в столицу танки. По «Белому дому» стали стрелять

из танков, некоторые члены Верховного совета были арестованы, и порядок восстановлен. За несколько месяцев был подготовлен проект Конституции, согласно которому полномочия президента расширились и создавался парламент: нижняя палата — Дума, с гораздо меньшим количеством членов, чем бывший Съезд, и верхняя палата — Совет Федерации, куда входили по два представителя от каждого региона. В декабре 1993 года новая Конституция была принята на всенародном референдуме и прошли выборы в обе палаты парламента.

Во время подготовки избирательной кампании, ее проведения и самих выборов я была в Москве. За места в Думе и Совете Федерации шла ожесточенная борьба. Многие из вышедших на политическую арену в 1989-м хотели продолжить свою карьеру. В Петербурге, где «демократы» были членами разных политических партий, случалось, что на одно место претендовало трое-четверо из них, что было на руку «патриотическим» кандидатам. Как можно было этого избежать? Сложно сказать. На встрече, где присутствовали четыре «демократических» кандидата от центрального округа, стало ясно, насколько маловероятно, что они согласятся поддержать единого кандидата. Решил не выдвигать свою кандидатуру только один из них. Как и ожидалось, голоса разделились и победил Невзоров — известный телеведущий, кандидат от «патриотов». Я была аккредитована от «Яблока» для подсчета голосов на своем местном избирательном участке, а потом пришла домой и стала ждать объявления результатов выборов. Как и многие другие, я, не веря своим глазам, следила за начавшими поступать с востока страны результатами — лидировала патриотическая ЛДПР. В окружении ликующих сторонников, ее неуправляемый лидер Жириновский отплясывал победный танец. Телеведущая все более неуверенным тоном зачитывала поступающие цифры, а потом трансляцию прервали.

В марте 1994-го прошли выборы в новое, более малочисленное Законодательное собрание Санкт-Петербурга, но активность избирателей была крайне низкой, так же как и во время второго тура в апреле. В результате Петербург так и просуществовал без парламента до ноября. Леонида Романкова переизбрали, и летние месяцы он провел за подготовкой новых законопроектов.

Такова была политическая обстановка в городе в 1991–1994 годах. В последующих главах основное внимание будет уделяться повседневной жизни. Подавляющее большинство населения недавно переименованного Санкт-Петербурга интересовалось политикой гораздо меньше, чем переходом к рынку. Эта тема затмевала все. «Окно в Европу» было распахнуто настежь. В начале девяностых привычный ход вещей в городе перевернулся с ног на голову. После стольких лет изоляции город был не готов к приходу рынка, лавинообразному потоку информации, захлестнувшим его волнам приезжих и товаров и столкновению с внешним миром. Его здания, организации и жители всячески старались выжить под развалинами государственной экономики.

Как люди справлялись с приватизацией, безудержной инфляцией, задержками и невыплатами зарплаты, ростом преступности? Для кого-то открылись удивительные возможности, которые они смогли реализовать, другие оказались в нищете и без надежды на будущее. Я не знала никого из тридцати-сорокалетних гостей бала в Таврическом дворце или из заводских рабочих с остановленных предприятий. Мой рассказ очень односторонний — его главными героями являются уже немолодые ленинградские интеллигенты моего поколения. В нем также, для придания большей глубины картине, появляется более молодое поколение, беспризорные дети, секретарши и художники. Но, дорогой читатель, когда я буду рассказывать о покупке квартиры, ремонте, установке телефона, походах по магазинам и своих путешествиях, прошу Вас не забывать, что я не только была «залетной птицей», с привычками и требованиями, сформировавшимися в совершенно иной среде, но, что еще более важно, в начале девяностых в Петербурге я была одной из очень немногих — хотя их число и росло, — имевших доступ к твердой валюте — американским долларам.

Глава 7

ПОКУПКА КВАРТИРЫ И УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА

«Когда будешь покупать квартиру, — сказала Галина весной 1992 года, — убедись, что там есть телефон. И еще нужно решить вопрос с дверью».

Я собиралась приехать на два года в творческий отпуск в Петербург и подумывала о покупке квартиры — эту идею подерживали мои даже самые осторожные русские друзья. Когда я буду уезжать домой или во время летних каникул, ей смогут пользоваться приезжающие ученые или аспиранты, а потом я могу продать ее кому-нибудь из друзей. В мае я упомянула об этом в разговоре с одним аспирантом из Петербурга, учившимся в Оксфорде. К моему удивлению, он сказал, что его отец — риэлтор (такой профессии не было в телефонных справочниках, да и самих телефонных справочников не было), и дал мне его телефон. На следующий день я позвонила Александру Исааковичу, который сходу предложил мне посмотреть «двушку» с телефоном рядом с метро «Василеостровская». Я объяснила, что нахожусь в Оксфорде, и попросила связаться с Галиной. В результате уже через неделю, сделав еще два звонка, я согласилась заплатить 15 000 долларов за квартиру и 120 долларов за холодильник. Мне хотелось жить на Васильевском острове, а квартиры там продавали редко.

Васильевский остров — один из старейших районов города, с юга омываемый водами широкой Невы, а с запада — Финского залива. На его западной оконечности находится огромный Балтийский судостроительный завод, с нескладным зданием православного храма, превращенного в склад. Здесь и старая гавань, и уродливая гостиница «Морская», и туристические лайнеры. Но стоит пройти дальше мимо завода по набережной, и вы увидите здание Морской академии со старым ледоколом «Красин» перед

ним и тщательно выверенную линию фасадов выходящих к реке зданий. А дальше — недавно расширенный Благовещенский мост, по которому поток машин выезжает с Васильевского острова в центр города, на Исаакиевскую площадь и к Мариинскому дворцу, где расположен горсовет.

Улицы, проложенные в XVIII–XIX веках, представляют собой четкую геометрическую сетку с тремя главными проспектами — Большим, Средним и Малым, протянувшимися с востока на запад, и пересекающими их широкими улицами, часто с аллеями деревьев, с высокими домами, у каждой из них свой стиль и характер, называются они просто «линиями» с номером. Средний проспект — торговая улица, здесь в основном находятся продуктовые магазины и всегда многолюдно: рядом метро и ходят трамваи. На Малом проспекте тише, особенно в районе старой гавани и запущенного Смоленского кладбища со свободно раскинувшимися березами. Большой проспект — главная артерия острова — в сумерках превращается в одну из красивейших улиц мира: прямую, широкую, с бульваром из разросшихся деревьев, через которые, словно светляки, мерцают уличные фонари. По аллеям вдоль проспекта можно пройти от порта — мимо старой пожарной станции, мимо родильного дома, расположенного в красивом здании начала XX века, — до перекрестка, где напротив рынка высится прекрасная розовая Андреевская церковь.

Дальше одна из старейших улиц города, с аптекой XIX века, сбегает на набережную, где расположены Академия художеств, дворец Меншикова (сподвижника и фаворита Петра I), за ним — бело-зеленое здание филологического факультета и «Двенадцать коллегий», главное здание университета. Через реку над крышами домов возвышается Исаакиевский собор, видны памятник Петру I на вздыбленном коне, желтое здание Сената и многочисленные великолепные дворцы. На нашем же берегу реки на площади у университета стоит памятник Ломоносову, дальше — классический фронтон здания Академии наук и синяя-белая Кунсткамера. Вот мы и дошли до моста, по которому можно перейти через Неву на Дворцовую площадь, где находится Эрмитаж, неподалеку — Адмиралтейство, а за ними — Невский проспект.

Квартира, о которой шла речь, была на 15-й линии, рядом со Средним проспектом, почти в самом центре острова, но все равно чувствовались близость моря и открытое пространство. В следующие несколько месяцев я — гордая владелица (но была ли я владелицей?) двухкомнатной квартиры в кооперативном доме — не раз вспоминала слова Галины. В квартирах кооперативных домов постройки семидесятых годов XX века — шестиэтажных коробок из бледного кирпича — потолки были низкие, шаткие оконные рамы с трудом удерживали тяжелые стекла, канализация была в плохом состоянии, а тонкие деревянные двери пропускали любые звуки. Но полы были паркетными, комнаты — залиты солнцем, за окном моего третьего этажа росли высокие деревья (ясени, клены, кое-где березы и рябины), и батареи отопления работали хорошо. Балкон большой комнаты и окно кухни выходили во двор, где карапузы бегали друг за другом вокруг ветхих скамеек, а мальчишки постарше играли в футбол или в снежки после школы. Окна во всех комнатах были с двойными стеклами, с форточками для проветривания зимой и широкими подоконниками. Герань Живкова заняла свое место. А вот телефон был отключен.

Одно из опасных мест в любом многоквартирном доме — вход в подъезд, с рядами почтовых ящиков по стенам, в которые почтальонша раскладывает газеты. Здесь может быть темно, грязно, вонять мочой или гнилой картошкой. С ростом преступности жильцы стали устанавливать домофоны, и с улицы стало можно позвонить в определенную квартиру. К сожалению, наш домофон не работал, ЖЭК никак не мог уговорить своих инженеров починить его, однако лестница в подъезде была одной из самых чистых в городе. Дом был кооперативным, в нем был выборный председатель, и мы по очереди мыли лестницу и лифт. На батарее первого этажа спал откормленный черный «кооперативный» кот, который приходил и уходил когда вздумается и поставил себя так, что жильцы его кормили.

Из окна третьего этажа старого дома напротив часами глядела во двор большая собака. Иногда я махала ей рукой. Она казалась мне товарищем по заключению. До прихода хозяина с работы ей совершенно нечего было делать. Я целыми днями писала, но звонок на моей двери был сломан, телефон не

работал, а замок иногда заклинивало. Пока я не выходила на улицу (что я, разумеется, делала), связь с внешним миром у меня отсутствовала. Спустившись во двор, я махала рукой собаке, и она выглядела расстроенной. Может, она виляла в ответ хвостом — сказать не могу.

Как же я оплатила покупку квартиры? Через неделю телефонных переговоров моя английская подруга, которая сама в 1990 году купила квартиру в пригороде за 3000 долларов и ходила с Галиной смотреть квартиру на Васильевском, принесла мне клочок бумаги с названием банка в Тель-Авиве и номером счета, на который я должна была как можно быстрее перевести деньги. Я опустошила сберегательный счет, добавила аванс за книгу, попросила в банке «Нэшнл Провиншиал» кредит на ремонт, который мы недавно закончили в оксфордском доме, а пока оформляли бумаги, заняла недостающую сумму у директора колледжа Св. Хильды. С ворохом чеков я пришла к своему менеджеру в банке, и он согласился сделать перевод немедленно.

Но — купила ли я квартиру на самом деле? Я просто отправила большую сумму денег неизвестным мне людям в Тель-Авив, полностью на доверии. Почему в Тель-Авив? В 1990 году еврейские семьи, эмигрировавшие в Израиль или США, стали продавать свои кооперативные квартиры за валюту. Их покупали те, у кого валюта была, то есть работающие за границей — в системе международной торговли, на торговом флоте, дипломаты, артисты, спортсмены. Теперь среди покупателей становилось все больше бизнесменов из только что возникшего коммерческого сектора. Все желающие публиковали объявления в газетах, указывая цены в долларах: очень низкие по западным меркам, но запредельно высокие в сравнении с российскими зарплатами. Одну из них приобрела и я. Но, когда я приехала в середине июня, в квартире все еще жила семья, обменивавшая эту свою квартиру на трехкомнатную через улицу, откуда жильцы уезжали в Израиль. Они, в свою очередь, «дарили» двухкомнатную квартиру Александру Исааковичу, чтобы оформить покупку трехкомнатной и переслать деньги в Тель-Авив. Договоренность более или менее сработала, но переезд задержался до начала июля. Семья вывезла из квартиры все — вплоть до карнизов для штор

и электрических патронов для лампочек — и, что хуже всего, нарушила обещание оставить подключенный телефон.

Но кто же был хозяином квартиры? Иностранцы владеть собственностью не могли. Я надеялась, что мы сможем оформить ее на кого-то из друзей или их детей и они пропишутся здесь. Все было не так просто, но — спешу добавить — совершенно не по вине Александра Исааковича, о котором я расскажу подробнее чуть ниже. А сначала — небольшое отступление: узнаем, как обстояли дела с жильем в позднесоветский период и о том, как проходила приватизация.

В советские годы жилье по большей части было государственным. У некоторых предприятий и институтов были ведомственные дома, а с конца шестидесятых, как мы видели, городские власти строили «кооперативные» дома, где те, у кого были деньги, могли «купить» квартиру. Но, вне зависимости от принадлежности дома, главным было иметь ленинградскую прописку, дававшую право жить в городе и получить положенное количество квадратных метров жилья или встать на очередь. В центральных районах Ленинграда в конце восьмидесятых больше половины населения продолжали жить в коммунальных квартирах — общий коридор, одна комната на семью, один туалет и одна ванная (на две — шесть семей) и большая кухня с несколькими газовыми плитами. Все стояли в очереди на жилье и ждали расселения в отдельные квартиры положенного метража. Один человек или супружеская пара могли получить однокомнатную квартиру: прихожая, кухня, ванная и туалет и одна жилая комната-спальня. Когда человек получал квартиру и регистрировался в ней, он мог обменять ее по своему усмотрению: маленькие объявления с полосками бумаги внизу, на которых написан номер телефона, с указанием параметров желательного обмена, расклеивались на заборах и стенах у станций метро и на автобусных остановках. Процесс отнимал неимоверно много времени и сил.

Я уже рассказывала, как Галине удалось переехать из коммунальной квартиры в однокомнатную в Петергофе, а потом — в двухкомнатную на Васильевском острове. Семья, жившая с ней на одной площадке в трехкомнатной квартире — женщина-врач на пенсии, ее замужняя дочь, зять, внук и младшая дочь, — мечтала разменять свою квартиру на две двухкомнатные, доплатив

за еще одну комнату. Бывало, что супруги разводились, чтобы получить две отдельные комнаты и потом обменять их на двухкомнатную квартиру, оформлялись фиктивные браки, чтобы один из «супругов», за деньги, мог оставить другому свою комнату в коммуналке, из которой выезжал. Немногие счастливицы становились обладателями просторных квартир, когда умирали дедушки, бабушки и родители, а сестры или братья разъезжались. После смерти родителей Эльмар вернулся в квартиру в Ботаническом саду, а сестра съехала в его кооперативную квартиру. В квартире Романковых тоже оставалось все меньше народа. Леонид женился и уехал. Остались родители, старшая сестра с мужем, Люба с мужем и сыном.

Квартиры всегда были самым востребованным товаром в городе и представляли огромную ценность для их владельцев, а теперь, с началом приватизации, они стали еще более желанной собственностью. Что в такой ситуации означала приватизация? Она представляла собой что-то вроде приватизации отдельных квартир в жилищных массивах, принадлежавших местным властям в Лондоне, где арендатор покупает право собственника на длительный срок. Летом 1992 года власти Санкт-Петербурга предложили всем желающим «приватизировать» свои квартиры записываться — записавшемуся присваивался номер, и по очереди стали выдавать документы. На каждого члена семьи полагалось определенное количество квадратных метров по фиксированной цене, дополнительные метры стоили дороже, стоимость квадратного метра различалась в зависимости, к примеру, от наличия лифта или центрального горячего водоснабжения. После приватизации квартиру можно было продавать, сдавать в аренду или распоряжаться любым другим образом по желанию владельца. Коммунальные услуги оплачивались как и раньше, за ремонт и уплату налога на собственность теперь отвечал владелец, также ввели налог на наследство. Выкупная цена составляла около трех средних месячных зарплат, и многие очень хотели выкупить свои квартиры, но в коммуналках для покупки или продажи нужно было получить согласие всех жильцов.

Однако, чтобы приватизировать квартиру, в 1992 году необходимо было иметь прописку. Человек мог быть собственником нескольких квартир, но прописан мог быть только в одной.

Никто не хотел регистрироваться в чужой квартире. С другой стороны, и я не хотела, чтобы у меня был зарегистрирован посторонний, — он мог внезапно заявить, что будет там жить, а мне, как иностранному гражданину, прописка не полагалась. В результате — после многодневных переговоров, бесчисленных телефонных звонков, консультаций и бессонных ночей — Александр Исаакович составил договор, который я подписала, а Галина засвидетельствовала. По этому договору я «дарила» квартиру ему (а в случае его смерти — его наследникам), а он в любой момент передавал ее мне или кому-то, кого я называла. Еще я написала заявление, что делать в случае моей смерти, и оба документа в запечатанном конверте поместили в архив Института социологии. Через год вышел новый закон, позволяющий иностранцам иметь квартиры. В октябре 1993 года я стала владелицей, что подтверждал заверенный нотариусом документ, жирно отпечатанный поверх другого бледного текста (бумаги тогда не хватало), а в 1997 году я продала квартиру молодой знакомой коллеге.

В декабре 1992 года приняли новый закон, по которому каждый получал право приватизировать свою квартиру, заплатив только регистрационный сбор. Горсовет объявил, что вернет уплаченные деньги всем купившим квартиры ранее, но, с учетом инфляции, вряд ли для кого-то это имело значение. Появились квартирные спекулянты, предлагавшие семьям из коммуналок отдельные квартиры в новых домах, и если кто-то не соглашался, к нему могли применить «жесткие меры». Через несколько лет оставшимся жильцам коммуналок дали право выкупить свою комнату и долю (например, четверть) кухни, ванной и туалета. Квартиры в центральных районах приводили в первоначальный дореволюционный вид (появились объявления: «Роскошная десятикомнатная квартира с видом на Неву») и продавали «новым русским», иностранцам или знаменитым деятелям искусств. Одну их таких квартир на набережной, с видом на Петропавловскую крепость, приобрел Ростропович. Учреждения, предприятия и местные власти судились за право владеть своей недвижимостью. Происходило сразу столько всего, что ситуация могла повернуться как угодно: некоторые жители коммуналок получали предложения, на которые еще год назад

не могли и надеяться. Но богатые богатели, а большинство становилось все беднее.

* * *

Членство в кооперативе стоило около 500 рублей (или 4 доллара в июле 1992 года). Выбранный жильцами комитет заключал договоры на ремонт домофонов, лифтов, с сантехниками и газовщиками, а также выписывал ежемесячные квитанции на оплату. Еще было принято решение платить по 40 рублей за освещение лестницы. Моя квитанция на оплату коммунальных платежей в сентябре 1992 года выглядела следующим образом (1 рубль равен 100 копейкам):

Капремонт	26 руб. 08 коп.	Холодное водоснабжение	8 руб. 04 коп.
Обслуживание	93 руб. 46 коп.	Горячее водоснабжение	9 руб.
Радиоточка	7 руб.	Отопление	24 руб. 19 коп.
Телеантенна	7 руб. 50 коп.	Домофон	29 руб. 44 коп.
Лифт	16 руб. 49 коп.	Прочее	20 руб. 89 коп.
ИТОГО		242 рубля 09 копеек	

При тогдашнем обменном курсе 1 доллар = 350 рублей эта сумма для человека, имеющего доллары, была смехотворной. Для пенсионеров, при базовой ежемесячной пенсии в 2250 рублей — все еще посильной, но, с учетом стремительного роста цен на продукты, прожить на 500 рублей в неделю было невозможно. За любые услуги сантехников или газовщиков обычно платили дополнительно. Еще я платила за газ по стандартному тарифу (1 руб. 90 коп. в месяц на человека) и снимала показания электросчетчика (24 коп. за киловатт), заполняла маленькие квитанции и оплачивала их в ближайшей сберкассе. В следующей главе мы еще поговорим о ценах, обвальной инфляции и тактиках выживания, сейчас скажу об этом лишь несколько слов. Рублевые цены росли не по дням, а по часам, но неодинаково на разные товары и услуги, а зарплаты работающих в государственном секторе (то есть большинства людей) практически не индексировались, да и платили часто не вовремя. Те, кто имел возможность

получать доллары, находились в привилегированном положении. Рост обменного курса не всегда совпадал с ростом цен, но тоже был очень быстрым — со 130 рублей за доллар в июле 1992-го до 1250 рублей в декабре 1993-го, то есть в десять раз. Основной валютой стали доллары. Иногда цены на товары и услуги сразу указывали в долларах. Поэтому, когда я буду рассказывать о ремонте квартиры и покупке мебели (и, конечно, о железной двери и телефоне), я буду называть цену в долларах, иногда добавляя рублевый эквивалент. (Перевод в фунты стерлингов все только усложнит. Скажу лишь, что сначала обменный курс фунта и доллара составлял 1:2, а на протяжении 1992–1994 годов колебался около 1:1,5). А теперь давайте посмотрим, как рынок одновременно не позволял жить по-старому и вдохнул новую жизнь в привычные модели поведения.

Ремонт

Моя квартира отчаянно нуждалась в отделке, починке труб и электропроводки — все это по-русски называется одним словом «ремонт». Дверцы встроенных шкафов перекошились, краны постоянно текли, под потолком висели гирлянды проводов. Может быть, можно просто покрасить всю квартиру белой краской? Галине идея показалась неудачной — стены неровные, и их необходимо обклеить обоями. Александр Исаакович, с присущим ему оптимизмом, взял на себя ответственность за «ремонт» и покупку мебели.

Александр Исааковичу было около пятидесяти, по образованию он был инженером, но работал риэлтором, виртуозно составлял документы, был глух на одно ухо и ходил всегда в застегнутом на все пуговицы вязаном кардигане. У него было множество хороших качеств, но оперативность (если только речь не шла о финансовых сделках) в их число не входила. Кроме того, создавалось впечатление, что ему очень сложно *тратить* деньги, вместо того чтобы копить их. В его голове роилось множество планов и сделок, в результате которых либо он должен был получить доллары, либо я не должна была тратить лишнего, либо, что лучше всего, эти две цели достигались разом. Но, к сожалению, часто ничего не получалось. Кроме того

(на дворе стоял июнь), я ни в коем случае не должна была ехать на Северный Кавказ — слишком опасно, вместо этого он устроит меня в прекрасный дом отдыха недалеко от Петербурга, где за твердую валюту я получу жилье и питание. Я все же поехала на Кавказ, в заповедник (подробнее об этом в главе 9), а когда в конце июля вернулась, не было сделано ровным счетом ничего. После трудного дня, когда он, с явной неохотой, выложил деньги за три рулона обоев и водил меня по городу в поисках давно закрытых магазинов, постоянно повторяя, что у него дома есть вешалка для пальто и кресла, которые прекрасно мне подойдут, и что мне обязательно нужно трюмо, я в отчаянии обратилась к Галине. Мы пересмотрели стратегию. Среди ее знакомых была молодая пара, которая сделает ремонт, а Александр Исаакович достанет самое необходимое из мебели.

Когда в сентябре я вернулась из Оксфорда, Александр Исаакович не сделал ничего, только два раза впустую посылал Галину смотреть подержанные шкафчики для кухни. Еще в качестве вклада в ремонт он купил за 10 долларов бронзовый дверной замок производства завода «Арсенал» с заедающим механизмом и предложил мне очень дешевые замки для гаража, которые я могла бы выгодно продать в Англии.

Хотя в 1992 году уже иногда встречались объявления «Ремонт квартир», нельзя сказать, чтобы строители, маляры или электрики Петербурга наперебой предлагали свои услуги. Ремонт либо делали сами, покупая материалы, если они были в наличии, в редких хозяйственных магазинах, либо через знакомых находили кого-нибудь из строительной фирмы, у кого был доступ к материалам и кто был не прочь заработать. Мой ремонт делали молодой инженер-электронщик и его жена, врач. Они красили, клеили обои, клали плитку в ванной и кухне, заменяли розетки и выключатели, чинили дверные ручки, стелили линолеум, циклевали паркет и развешивали шкафчики в кухне — все за 150 долларов плюс стоимость материалов. Все материалы обошлись им в 88 долларов и бутылку водки, а «кухня» — шкафы, новая раковина и кран — в 100 долларов плюс 5 долларов за доставку.

Вернувшись в начале сентября с тканью для штор, бумажными абажурами и порошком от муравьев, я застала ремонт не законченным, а из мебели — только новую кухню. Огромного

послевоенного деревянного гардероба, который я согласилась купить у знакомых Александра Исааковича за 10 долларов, не было. Я позвонила ему и сказала, что завтра утром мы с Галиной идем в мебельный магазин, он ответил, что тоже придет туда. В магазине стояла единственная кровать — добротная, с хорошим матрасом, по цене около 25 долларов. На ней стояла табличка «Продано». Угрюмый продавец немного подумал, спросил: «Вы точно ее берете?», убрал табличку и заявил, что она наша. Он объяснил, что устал отвечать на вопросы насчет этой кровати. Потом мы стали выбирать мягкую мебель и быстро решили, что купим дорогуший комплект, удобный, тяжелый и безобразный: диван, два массивных кресла и пуфик — коричнево-бордовые, с желтыми пятнами. Теперь речь уже шла о сумме более 200 долларов — профессорская зарплата за полтора года. Узнав, что у нас недостаточно рублей, продавец заколебался, однако согласился отложить для нас мебель, пока я, оставив Галину в заложниках, сбегаю в банк. Я смогла уложиться в сорок пять минут, а вернувшись, обнаружила, что появившийся в мое отсутствие Александр Исаакович находится в предынфарктном состоянии: неужели мне удалось проскочить мимо кавказских бандитов, карауливших у банков? За мной точно не было хвоста? Мы отсчитали стопку купюр кассиру и договорились о доставке — за 5 долларов грузовик перевезет всю мебель прямо сейчас. Мы с Александром Исааковичем поехали на трамвае, и к нашему приезду мебель была уже дома.

К 20 сентября стены были покрашены, обои поклеены, полы блестели. Газовую плиту обычно не меняли. Моя была старой и грязной, но в рабочем состоянии. Галина позвонила Вите — знакомому «надежному» газовщику, к которому она обращалась в случае необходимости. И действительно, в назначенное время Витя явился со своим чемоданчиком, проверил плиту, сделал все необходимое и объявил, что ей можно безопасно пользоваться, что обошлось мне в 30 рублей (стоимость двух буханок хлеба). Еще он согласился прийти и переделать газовые трубы, если мы решим двигать плиту, но это будет стоить уже 500 рублей (1,5 доллара).

Заполучить сантехников, отвечавших за водопровод и отопление, оказалось сложнее. Я позвонила, договорилась о дне и времени, но никто не пришел — где-то прорвало трубу, и все

были заняты. На третий день они явились — один высокий в темных очках, бейсболке и кроссовках, другой — маленький, молчаливый, в резиновых сапогах до колен. Сказав, что за 1500 рублей (4,5 доллара) установят новую раковину и проверят, нормально ли работает унитаз, они взялись за работу, время от времени обращаясь ко мне за ножницами или отверткой. Резьба нового крана горячей воды была сорвана. «Обычное дело», — сказал Саша (тот, что в темных очках). «А как же быть?» — спросила я в отчаянии, прекрасно понимая, что вернуть неисправный кран и получить другой взамен нереально. «Что-нибудь придумаем», — ответил он. И действительно: горячий кран работал, только открывался в другую сторону. (К сожалению, я не предупредила об этом свою коллегу из Англии, которая месяц жила у меня следующим летом в период отключения горячей воды и оставила кран полностью открытым. Когда дали воду, она хлестала из раковины и залила квартиру этажом ниже).

Поскольку в доме все часто ломалась, а запчастей достать было практически невозможно, было важно уметь использовать подручные материалы. Чтобы приделать ручку к швабре, я отпилила часть карниза для штор и вставила получившуюся палку в отверстие щетки. В туалетном бачке место резинового клапана, который кто-то позаимствовал, заняли связанные проволокой пробки. Когда клапан вернули, его «на всякий случай» просто бросили в бачок, где он с тех пор и плавал. Сантехники утверждали, что бачок работает нормально, а вот разбитую крышку заменить не получится — их нет в продаже. Но тут тот, что в резиновых сапогах, вспомнил, что видел объявление о продаже крышки для унитаза за 300 рублей (1 доллар), сходил за ней и поставил ее на место. Для установки новой раковины нужно было снять плитку со стены, что они и сделали с большой осторожностью, чтобы потом ее можно было приклеить обратно: по их словам, я никогда бы не нашла в продаже белой плитки того же оттенка. Три часа я отчищала сероватый цемент с обратной стороны плитки, а потом купила большую бутылку специального клея. Теоретически можно было купить грунтовку, но иногда, как в тот момент, она пропадала из магазинов, и люди заменяли ее смесью алебастра с чем-то еще. Я так и не узнала, с чем нужно смешивать алебастр, потому

что, как выяснилось, алебастр тоже был дефицитным. Пришел Витя и передвинул газовую плиту. Бывший Галинин студент, пытавшийся собрать деньги для новой частной школы, где он преподавал историю и латинский язык, проверил электрику, повесил пару полок и с трудом закрепил карнизы для штор.

Железные двери

Как смешно мне теперь вспоминать свою наивность тех первых недель, когда я пребывала в твердой уверенности, что смогу все закончить к своему дню рождения 25 сентября! Галина подбадривала меня, говорила, что все идет отлично, посылала за карнизами на окна (мне удалось их найти — трехметровые металлические трубки с висящими страшными крокодильими зубами для крепления штор, стоявшие меньше, чем катушка импортных хлопчатобумажных ниток), а потом заявила, что теперь нужно ставить железную дверь. Сама она уже два года безуспешно пыталась поменять замки на собственных дверях. Вначале приходил плотник Вася, который перевесил внутреннюю дверь на другую сторону, но ушел, не закончив и пообещав вернуться через неделю. Хотя у Галины в квартире осталась часть его инструментов и рабочие брюки, он больше так и не появился. Потом за дело взялся Виктор — все промерил, но ничего сделать не смог: его разбил радикулит. Замки на обеих дверях периодически заклинивало, и Галина оказывалась запертой в маленькой прихожей с застрявшими во всех замках ключами. На ночь внешняя дверь запиралась на огромный металлический крюк, а между дверями ставилась деревянная распорка. Я подумала, что могу привезти врезные замки из Англии, но двери в Петербурге оказались на 2 миллиметра тоньше. В сентябре Галина узнала об одной новой «фирме», изготавливающей стальные двери по 15 000 рублей (75 долларов) и качественную деревянную мебель. Я никак не могла купить (ни в магазине, ни с рук) простой прочный деревянный письменный стол и книжные полки. Может, там их сделают за доллары? Мы поехали выяснять.

В маленьком офисе на диване сидели двое молодых людей в джинсах и кожаных куртках. К стене была прислонена железная дверь, в следующей комнате кто-то пил чай. Один

из парней взял блокнот, записал наш заказ на две двери, обещал прислать замерщика и сказал, что через две недели все будет готово. Мы поинтересовались, можно ли сделать еще и стол — за доллары. Все сразу же наострили уши, и нас провели в следующую комнату поговорить с пожилым проектировщиком. Цену обещали назвать на следующий день. Она оказалась непомерной: 350 долларов за одну дверь, стол и стеллаж. Мы пошли обсудить цену с боссом — высоким дюжим инженером лет сорока, который не хотел заранее называть цену за дверь для Галины, поскольку она была нестандартной, но потом предложил сделать обе двери и мебель за 400 долларов и 14 000 рублей, в результате мы сторговались на 400 долларах, 5000 рублей и первоочередном выполнении нашего заказа. Я оставила 100 долларов в качестве аванса. На следующий день ко мне пришел, распространяя запах спиртного, замерщик Игорь. Закончив у меня, мы отправились к Галине, по пути Игорь заскочил за водкой. У Галины он расстроил нас, заявив, что наши замки слишком простые и, в целях безопасности, мы должны их немедленно поменять. Назавтра я отправилась на поиски замков. В «Вавилоне» все было распродано, в хозяйственных предлагали только тяжелые стандартные замки, в «Коммерческом центре» на полке рядом с тампаксом и шампунем Wash and Go лежал единственный огромный гаражный замок.

Через три недели (не так уж и плохо) фирма выполнила наш заказ, и мы отправились посмотреть, что получилось. Мы ехали на троллейбусе, потом шли по грязной, почти проселочной дороге по берегу, пока не оказались у заводской проходной из красного кирпича рядом с огромными воротами. Возле турникета уже ждал один из знакомых молодых людей, который провел нас через охрану внутрь «военно-промышленного комплекса». Сам завод, судя по громадным грузовикам и металлическим конструкциям, вероятно, был предприятием тяжелой промышленности, но «конверсия оборонных предприятий» позволила частной мебельной фирме работать на его территории. Молодые инженеры арендовали цех, открыли магазин и офис, наладили сотрудничество с финской компанией, чтобы получать чертежи и материалы, а также экспортировать свою продукцию и,

за хорошую зарплату, наняли рабочих — человек пятьдесят плотников, проектировщиков и слесарей. Мы осмотрели двери, попробовали замки, одобрили стол и стеллаж, договорились, что завтра в час дня нам все привезут, и отправились на экскурсию в цех. Там из сосны, дуба и тика делали садовую мебель, спальни, кухни и столовые, как нам объяснили, для «новых буржуев и миллионеров». Мебель была красивой и дорогой.

В назначенное время пятеро рабочих все привезли, подняли в квартиру, собрали стол и стеллаж и ушли, оставив пятнадцатилетнего Валерия с напарником (бригоголовым здоровяком) устанавливать дверь. Это была вторая установка двери для Валерия. В школе у него что-то не сложилось, он бросил учебу, и отец, который проектировал и изготавливал замки для фирмы, взял его к себе в надежде, что работать руками у мальчика получится лучше. Валерий с напарником отсоединили проводку дверного звонка, попросили у меня нитки (чтобы подвязать проводок на своей электродрели), потом потребовали ножницы (так как забыли нож) и зубную пасту (чтобы отметить место крепления замка). Для смазки замка пришлось воспользоваться маслом Johnson's Baby Oil — другого у меня не было. Они задымили весь коридор паяльной лампой и прожгли новый линолеум. Провозившись с часу дня до семи вечера, пара призналась в своей беспомощности: замок не закрывался. На следующий день пришел отец Валерия, разобрал замок и долго его ремонтировал. Наконец-то у меня появилась нормально закрывавшаяся обшитая деревом железная дверь!

Валерий и напарник-здоровяк весь день провозились с дверью Галины и попытались смонтировать электропроводку, в результате чего в квартире вылетели пробки. Под конец работы на площадке появились соседи, покачали головами: «Да, с такой дверью к тебе все воры сбегутся. Как это ты додумалась деньги на ветер выкинуть?» — и отправились в театр. И это еще были хорошие соседи! Галина расплакалась, а стоявший на стремянке Валерий процедил сквозь зубы: «Хотите, я догоню их и объясню, что к чему?»

Через пару недель знакомая прислала ко мне двух женщин, красивших стены у нее на работе, чтобы зашпаклевать дырки возле петель и покрасить дверную коробку. Они пришли

в рабочее время, потому что из-за отключения электричества им нечего было делать. Женщины забили дырки тряпками со штукатуркой, все покрасили и покрыли лаком и попросили 500 рублей (1,5 доллара) за 6 часов работы, я дала им еще по шоколадке для детей. На следующий день мой замок намертво заклинило. Я позвонила Галине. Ее замки работали, но ванную заливало из квартиры сверху, хозяева которой уехали на дачу. Чтобы все привести в порядок, ей понадобились два дня и бессонная ночь, которую она пробегала с ведрами. Ночь я просидела взаперти, а на следующий день приехал отец Валерия и открыл замок. Когда я приехала к Галине через несколько дней, у ее двери меня встречала лужа: кто-то выражал свое недовольство новой дорогой дверью, сначала сломав звонок, потом три раза срывая ее записку «Стучите!», а теперь помочившись у порога.

Телефон

Наконец мы добрались и до телефона. Сначала я коротко расскажу читателю, какую роль играл этот инструмент в жизни советских граждан и как они воевали с государством за обладание этим бесценным ресурсом или за его сохранение. Теперь в это сложно поверить. Возможно, в российском контексте (и не только в российском?) мобильный телефон был самым революционным изменением конца XX века.

В коммунальных квартирах в прихожей висел один телефон на всех жильцов. В отдельных квартирах иногда был собственный телефон. Обходиться без него в обычной жизни было сложно. Таксофоны на улицах и в учреждениях часто не работали, а двухкопеечных монет вечно не было под рукой. Домашних номеров на всех не хватало, и установка телефона в квартире требовала огромного напряжения сил — на это могло уйти лет пятнадцать, в ход шли и взятки, и связи. Одна из моих подруг рассказывала, как в шестидесятых спрашивала каждого таксиста, не знает ли он, как можно получить телефон, и наконец один из них ответил утвердительно и дал ей номер, по которому нужно позвонить. Там ей предложили принести 300 рублей (студенческая стипендия за год) в определенный день и время по такому-то адресу на окраине города. Они с мамой собрали все

наличные деньги, заняли недостающую сумму и поехали. Мужчина в дубленке встретил их, впустил в полупустую квартиру, пересчитал деньги, сказал, что через три месяца они получают телефон, и отправил восвояси. Все три последующих месяца они боялись смотреть друг другу в глаза: как можно было так опростоволоситься? Но ровно через три месяца пришло извещение: им выделили линию с таким-то номером. Историй на эту тему множество. Кто-то заметил, что на улице напротив его квартиры тянут телефонную линию. За бутылку водки рабочие любезно вывели параллельную линию через стенку в его комнату, и человек долгие годы бесплатно пользовался телефоном.

В моей квартире телефонная линия была (я продолжала платить за нее), просто ее надо было подключить. Александр Исаакович говорил, что беспокоиться не о чем, вопрос решаемый. У него есть знакомый проректор в одном институте, который нам поможет. Этот разговор состоялся в июле. В середине сентября ему удалось связаться с проректором, с которым, как оказалась, я уже встречалась, тот переговорил с кем-то в мэрии и отправил туда письмо с просьбой установить телефон человеку, организующему программы стипендий и таким образом помогающему городу. Александр Исаакович уверял, что все решится за пару недель, ведь привлекли достаточно важных людей. Я начала надеяться. Тут позвонили с телефонного узла: да, связь можно восстановить, но по существующим коммерческим расценкам: 150 000 рублей или 500 долларов. Александр Исаакович только руками развел. Я позвонила проректору, и он, без особой охоты, согласился позвонить своему знакомому в мэрии. Тогда же я решила посоветоваться со своим другом из горсовета, его жена работала вместе с этим проректором: она узнает, как обстоят дела, и скажет, что при необходимости можно организовать письмо из горсовета. Через несколько дней мне передали, чтобы я позвонила одному из чиновников мэрии, а через неделю, после серии телефонных переговоров, я уже шагала по людному проспекту в Смольный на назначенную встречу и весело помахала рукой Ленину у входа.

Внутри меня ждал светловолосый молодой чиновник лет тридцати, в темном костюме и с папкой для бумаг. Он повел меня по коридорам, остановился, чтобы просмотреть какие-то

бумаги с другим молодым человеком, и, лавируя среди людей по лестнице, сообщил, что ему удалось назначить встречу с начальником отдела связи, но тот очень занят, и, возможно, придется ждать, да и у него самого только «маленькое свободное окошко». Хотя в офисе было полно народу, руководитель отдела связи — элегантный пятидесятилетний бывший инженер — принял нас почти мгновенно. Я объяснила, что приехала на два года собирать материал для научной работы и помогать с научными обменами, что живу в отдельной квартире, но телефон отрезали, и что в ответ на запрос восстановить связь, поддержанный проректором, с меня запросили 150 000 рублей. «Когда отсоединили телефон? — спросил он. — И чья это квартира?». Я объяснила, что принадлежит она Александру Исааковичу, но он там не прописан. Он ненадолго задумался, записал имена и адрес и позвонил начальнику районного узла связи, потребовав узнать, перенесли ли номер, и немедленно перезвонить. Я впервые слышала, чтобы политический руководитель говорил командным тоном. Через несколько минут начальник узла связи позвонил и сообщил, что номер передали инвалиду и что свободных номеров нет и не предвидится. Со мной руководитель отдела был очень мил, иногда даже шутил («мы еще не разработали систему прописки для англичан»), но при разговоре по телефону его голос резко менялся, становился жестким, с металлическими нотками: «Найдите номер и выделите его в порядке исключения временно, на два года; мы напишем письмо с просьбой руководителю Петербургской телефонной сети. И чтобы все было сделано по обычному тарифу для специалиста, который работает консультантом в мэрии». После этого тон сменился на дружеский. Закончив разговор, он проинструктировал молодого чиновника: его отдел должен подготовить документ о том, что я являюсь консультантом в мэрии, и принести ему на подпись, он подпишет письмо, и затем его отправят руководителю Петербургской телефонной сети Яшину.

В коридоре молодой чиновник выглядел очень довольным: все прошло хорошо, Александр Александрович записал всю необходимую информацию, и он бы мог сделать письмо сегодня, но должен посоветоваться с проректором, как точно называется должность «консультант мэрии». Почувствовав, что это звание

еще нужно заслужить, я предложила редактировать тексты на английском языке, направляемые мэрией в иностранные фирмы. «А когда, — спросила я, — у меня будет телефон?» Глупый вопрос. Он заколебался. Я настаивала: «Через неделю, как думаете?» — «Ну, — ответил он, — с учетом переписки, недели две, но за телефонный узел я не отвечаю».

Я возвращалась через Таврический сад и жевала булочку с изюмом (за 5 рублей, из нового магазина Scottish breads, Staff of Life*), но ни яркие краски осени, ни два кило удачно купленной гречки не могли поднять мне настроение. Я попросила об одолжении человека, использовавшего свою власть так, как я не одобряла, и тем самым как бы оправдала его поведение. Я пыталась понравиться начальнику отдела, улыбалась, благодарила и в то же время внутренне кипела от негодования, слушая его разговор с подчиненными. И чем это лучше взятки? Еще меня угнетала атмосфера Смольного — бюрократического муравейника, средоточия власти, распределяющего права и привилегии точно так же, как в прошлом обком партии.

Через две недели я позвонила своему знакомому чиновнику. Он пока ничего не сделал, потому что выяснилось, что ему нужны еще кое-какие детали. Мы все уточнили. Он велел позвонить в следующий понедельник. К моему удивлению, он был на месте и сообщил, что письмо отправлено и мы можем получить ответ в четверг. В четверг он заверил меня, что ответ придет в пятницу. В пятницу — тишина. Потом начались ноябрьские праздники. Вторник — тишина. Среда, четверг — тишина... Но может быть, ведь *может быть*, уговаривала я себя, что сегодня вечером хотя бы починят домофон? Председатель кооператива Нина Тимофеевна написала еще одну заявку, но, объяснила она, все зависит от того, придет ли мастер в контору, чтобы ее забрать. Галина советовала потерпеть.

Ноябрь почти закончился, домофон починили, но надежда на подключение телефона таяла с каждым днем. Застать на месте моего знакомого чиновника было непросто, а когда я случайно попадала на него, он всегда обещал ответ завтра. Завтра было то же самое. Мы попробовали сменить стратегию: от моего

* Шотландская выпечка. Хлеб насыщенный (англ.).

имени позвонил ученый секретарь Института социологии. С тем же успехом. Александр Исаакович настаивал, что, пока я не скажу волшебные слова «Буду вам очень благодарна», т. е. не предложу взятку, дело с места не сдвинется. Молодой чиновник уверял, что доставил письмо руководителю Петербургской телефонной сети Яшину, а заместитель Яшина утверждал, что никакого письма не было. В итоге, в конце месяца молодой чиновник передал нам слова Яшина, что тот не хочет делать исключений и мне надо посылать запрос на коммерческой основе. Наконец хоть что-то прояснилось.

Газеты писали, что установка телефона стоит теперь 97 000 рублей (или 220 долларов по текущему курсу — зарплата преподавателя института за два года). Александр Исаакович отправился в районный узел связи. Я снова надеялась и была готова платить. Но в середине декабря пришло уведомление, что номер передают очереднику — ветерану войны. Александр Исаакович был вне себя и говорил, что подаст в суд. Мне было жаль ветерана, но все уверяли меня, что это все выдумка. Я уехала в Москву, оставив заниматься телефоном свою приятельницу, у которой были знакомые связисты, способные достать номер за деньги (около 6000 рублей). Но по возвращении меня ждали плохие новости: в моем районе номеров было мало и спрос на них был невероятно высок. Казалось, что дело можно решить, только организовав давление сверху. В Англию на Рождественские праздники я уезжала, потеряв всякую надежду.

Но когда я вернулась после Нового года, то, к моему удивлению и радости, жившие в моей квартире друзья показали мне открытку, где говорилось, что завтра телефон подключат. Я не могла в это поверить. Пришел Александр Исаакович, забрал 100 долларов и ушел за договором. В конце концов ему удалось! Проректор встретился с Яшиным, не знаю, о чем они говорили, но Джордж Сорос только что выделил на российскую науку, в том числе связь, один миллион долларов, а в первом запросе упоминалось, что я связана с Фондом Сороса. Яшин дал разрешение, номер выделяли за 20 000 рублей (около 50 долларов). Все утро мы с Галиной провели в очереди на телефонном узле. Когда наша очередь подошла, к нам обратилась женщина: «Можно пройти перед вами? Мне на кладбище надо». «Нет, — отрезала

Галина, обычно — образец отзывчивости. — Кто бы там ни был, он вас дождется». Мы подписали бумаги у начальника узла, недовольного, что номер достался нам так дешево. Сто долларов были частично потрачены на духи Yves Rocher (для кого?), и мы решили, что я приглашу проректора на обед.

Телефон ожил, но работал только частично. Я могла звонить, а мне — нет. На следующий день я отправилась на поиски нового аппарата. В витрине магазина на Среднем проспекте я увидела шикарный красный кнопочный аппарат, но, когда я вошла, продавец уже выдавал последний другому покупателю. Я направилась в магазин технической литературы недалеко от Невского, где, как мне говорили, продавались немецкие телефоны, но там были только очень дорогие модели из Бангкока (чем более экзотичным был импортный телефон, тем хуже он работал); в Гостином дворе телефонов не было; в Пассаже предлагали два польских аппарата — размером с небольшой танк, дорогих и без гарантий; в музыкальном магазине «Мелодия» продавался единственный телефон — Филипс для автомобиля. У меня опустились руки, и я направилась домой, но на всякий случай заглянула в хозяйственный на Первой линии — там меня ждал сиреневый российский телефон за 2000 рублей (5 долларов) с паспортом. Всем электротоварам полагалось иметь паспорт, то есть документ с печатью и подписью продавца. У телефона не было разъема, но я надеялась, что подойдет старый. Как бы не так. В новом телефоне было два провода, а в старом — четыре. За помощью я обратилась к соседу, который присоединил провода нового телефона к старым. Разъемы были дефицитным товаром. Внезапно моя жизнь стала проще. Вся эта история оставила неприятный осадок — ведь чтобы установить телефон, пришлось использовать связи, и под конец я уже даже не испытывала угрызений совести.

Глава 8

ПУЧИНА РЫНКА

Как рынок, поначалу вкрадчиво, а затем все более беззастенчиво, менял жизнь города и процесс, который можно назвать «шопингом по-советски»? Кто выиграл от перехода на рыночную экономику, а кто проиграл? В попытке разобраться в своих чеках и записях и сравнить цены в те годы, я обратилась к Андрею Алексееву — он никогда не выкидывал чеки, железнодорожные или театральные билеты. «Они в архиве? — спросила я. — Можешь посмотреть, сколько стоил билет на поезд до Краснодара в 1992 году?» — «Нет, — ответил он. — Если ты пишешь воспоминания, то надо писать о том, что ты помнишь. Ты же не научный анализ проводишь». Я была раздосадована. Неужели я не должна была проверять цифры, которые привожу? И неужели мой рассказ — это не... Но потом я подумала: а ведь и правда, это — задача для историков будущего. И почувствовала благодарность Андрею — он упростил мою задачу. Пусть я не могу провести «научный анализ», но могу предложить серию зарисовок.

В ноябре 1992 года, пока я стояла у прилавка молочного магазина и изучала цены, ко мне обратилась старушка: «Не могли бы вы мне помочь? Я пенсионерка, и мне не хватает шести рублей на яйца». В начале сентября десяток яиц стоил 27 рублей, а теперь — уже 90 или 100. Контейнера у меня с собой не было, и я осторожно несла яйца в полиэтиленовом пакете. Пока я шла по Большому проспекту, меня несколько раз останавливали — где я купила яйца и почем. Однажды в метро ко мне обратилась женщина: «А вы не знаете, где в городе можно купить недорогой сметаны?» У меня уже был готов вырваться стандартный ответ: «Дешевой сметаны нет нигде, теперь все очень дорого», но я сдержалась и тихо прошептала: «Не знаю...», а она еще долго

рассказывала мне, как сложно подготовиться к празднованию дня рождения сына.

Хуже всего приходилось пенсионерам — обычная пенсия составляла 2250 рублей в месяц. Квартплата не превышала 300 рублей, но 500 рублей в неделю на нормальное питание было явно недостаточно. Можно было позволить себе лук, картошку, капусту по 30 рублей за килограмм, но хорошее мясо по 500–800 рублей за килограмм, сахар по 160 рублей и печенье по 100 рублей попадали в категорию «предметов роскоши». В 1992 году проблема заключалась не только в дороговизне, но и в дефиците товаров. Когда ты натыкался на что-то из основных продуктов (сахар, растительное масло, муку, рис, гречку, соль), то сразу покупал не меньше двух килограммов. Если отстоишь двадцать минут в очереди, уже опоздав на работу, становится абсолютно очевидно, что надо брать не один килограмм, а два. Да и неизвестно, когда этот продукт ты увидишь снова — возможно, через пару месяцев. В ноябре на прилавках появился сахар, а вот подсолнечного масла и соли так и не было уже с середины сентября.

В 1992 — начале 1993 года главной проблемой было отсутствие продуктов и безумный рост цен. Чтобы купить что-то одно, можно было потратить час. Но к лету 1993-го, если все точно спланировать, за час мне удавалось купить три вида продуктов. Открылись новые шикарные продовольственные магазины, куда покупатели подъезжали на машинах. Один из них, на Васильевском, назывался «Антанта» (любой школьник знал из курса истории о чудовищной «Антанте»). Там, под бдительным надзором целого взвода продавцов, высматривающих воришек, продавались заграничные продукты, алкоголь, фрукты. Цены были дикими, но люди все равно покупали. Кто-то заходил просто из любопытства, кто-то — купить один лимон заболевшему ребенку, здесь можно было встретить и обнищавшего интеллигента, покупающего 250 граммов копченой колбасы для родственника в больнице, и молодую семью с полными корзинками продуктов. Стоя в кассу с двумя бутылками молдавского вина по 2400 рублей (2 доллара) каждая, пачкой диетического печенья, пачкой печенья Leibnitz, упаковкой мороженой куриной печенки и небольшим кусочком свинины (всего на 11 000 рублей или

10 долларов), я вдруг поняла, что уже не была самой богатой в очереди. Возник новый класс!

В конце 1993 года все были озабочены повышением и своевременной выплатой зарплаты. Чтобы сохранять привычный уровень потребления или иметь возможность купить новые, дефицитные товары, было просто необходимо где-то получать доллары. Теперь все чаще при наличии денег желаемое можно было достать. Но не всегда. Вдруг на месяц-другой исчезали электрические лампочки. Я слышала, что автозапчасти — это вечный дефицит, однако в октябре 1993 года писала в дневнике: «Жизнь изменилась по сравнению с прошлым годом». В 1992-м поиски чашек, тарелок и прочих кухонных принадлежностей заняли у меня несколько дней. На безрезультатную охоту за дверным замком я потратила день. Теперь, с большой долей вероятности, я могла найти желаемое за несколько часов. Может быть, мне просто повезло с ковриком у двери (старый кто-то украл, пока я была в отъезде), но в хозяйственных магазинах теперь было раздолье — появился даже большой отдел обоев (импортных испанских).

Осенью 1994 года, когда я вернулась в Англию, жизнь осталась во многом неопределенной и, особенно для пожилых людей с ограниченным доходом, очень тяжелой. Но с невероятными 1992 и 1993 годами уже не было никакого сравнения.

Осень и зима 1992–1993

Осенью 1992 года билет в театр стоил меньше, чем одно яйцо. Билет на самолет через пол-России — как три порции мороженого в новом кафе «Баскин Роббинс» на Невском. Бутылка водки — как катушка ниток, на недельную пенсию можно было купить хорошую гелиевую ручку. Некоторые из этих товаров были, безусловно, импортные. Но хозяйственные товары стоили абсурдно дешево по сравнению с продовольственными (шторка для ванной — как кило картошки, дверной коврик — как кило помидоров). Цены на театральные билеты и книги оставались смехотворными — хорошее издание могло стоить 35–50 рублей (дешевле, чем один лимон). Путешествовать все еще можно было почти даром: разве может билет на самолет до Архангельска стоить как полкило копченой колбасы?

При походах по магазинам важно было соблюдать несложные правила. Первое: никогда не выходи из дома без крепкой хозяйственной сумки, в которой лежит несколько пакетов. Если тебе вдруг попадутся масло, рис или яйца, то продавцу нужен будет пакет, чтобы их отпустить; при походе за сметаной надо было иметь банку с закручивающейся крышкой. Второе: покупай не один килограмм, а два. Третье: прежде чем стать в очередь, все разузнай. Стоя в очереди за сахаром, я спросила стоящую впереди старушку, нужны ли специальные талоны. «Разумеется, — ответила она. — Вы инвалид первой или второй группы?» Четвертое: если продают молочные продукты, а очереди нет, значит они кислые. И наконец: когда видишь какой-то нужный тебе предмет (зеркало, удлинитель, коврик), сразу покупай — завтра он, скорее всего, исчезнет.

Один день я пребывала в особенно хорошем настроении. С утра зашла в хозяйственный — а там мясорубки (по 1,5 доллара) и пластмассовые крышки для банок, причем и большие, и маленькие (по 2 рубля штука). «Какой счастливый день, — сказал старичок у прилавка, — даже маленькие крышечки для банок есть!» Накануне я заметила, что в магазине появились крышки, и пробила чек на шесть штук (меньше доллара), но купить ничего не сумела: два здоровяка, стоявших передо мной в очереди, приобрели три чайных сервиза (по 8000 рублей или 22 доллара каждый). Единственная продавщица в магазине проверяла каждый предмет, нет ли в нем трещин, и все переупаковывала. А сегодня мне достались не только мясорубка и крышки для банок, но еще и билеты в театр на «Дни Турбиных» Булгакова (по 8 рублей). Я решила, кутить так кутить, и купила еще и лимон за 56 рублей.

Возле станций метро и на главных улицах повсюду появились киоски, где продавали все сразу: футболки, кроссовки, консервированный горошек, солнцезащитные очки, дешевую бижутерию и сигареты. В подземных переходах, вестибюлях метро и просто на углах шла торговля с рук — теми же сигаретами, котятками и щенками, газетами. Среди продавцов были и дети. С потрепанными шапками для подаяния расположились вдоль стен нищие и увечные. Развелось множество валютных дилеров всех мастей. Спиртное теперь можно было купить какое угодно,

а контроль со стороны милиции или общества практически отсутствовал, в результате на улицах появилось много пьяных. Один, проходя мимо меня нетвердой походкой, бросил: «Может я и пьян, но могу и на пианино сыграть!» В основном это были мужчины, с трудом вписывающиеся в повороты тротуаров, но встречались и развеселые женщины, распевające хриплыми голосами песни и периодически прикладывающиеся к пивным бутылкам.

Рынки мало изменились, но ассортимент цветов, овощей и фруктов расширился (в сентябре продавали помидоры, баклажаны, огурцы, виноград, яблоки и груши, в ноябре — яблоки, виноград и гранаты и, разумеется, привычные картошку, морковь, лук, чеснок и капусту). Фруктами, как и всегда, торговали в основном грузины или выходцы из Средней Азии, а русские крестьяне предлагали овощи, мясо, творог и мед. Мясо стоило вдвое дороже, чем в магазине, но было гораздо лучшего качества, и выбор был шире: одинаково дорогие свинина и говядина, немного телятины, кролики, костлявые куры, маленькие молочные поросята, сало... по невероятным ценам. Мало кто мог позволить себе питаться продуктами с рынка.

Но больше всего в 1992-м убивало то, что поход по магазинам отнимал огромное количество времени. Когда я вернулась домой в Оксфорд на Рождество, мы с мужем Алистером пошли за покупками. Глядя на нашу тележку с продуктами для всей семьи на две недели, стоящую у машины на парковке возле супермаркета Sainsbury, я едва не расплакалась. Чтобы все это купить, мы потратили час. Роскошные рождественские товары меня совершенно не тронули: я не могла оторваться от полок с посудой, швабрами, моющими средствами, зеркалами для ванной и консервными ножами. В понедельник все повторилось: к 4 часам дня я сумела посетить окулиста, заказать новые очки, сходить в химчистку и в банк, зайти на работу — в колледж Св. Хильды — и проверить почту, час провести с коллегами, обсуждая рабочие вопросы, и пообедать. В Петербурге я была бы счастлива успеть хотя бы что-то одно, да и то после целого дня согласований. Потом я отправилась в магазин Youth Hostel Shop с парой ботинок, купленных Андреем Алексеевым в 1991 году — они треснули в двух местах.

У меня не было ни чека, ни гарантийного талона — да и рассчитывали ли производители, что ботинки будут носить *ежедневно* по булыжным мостовым? — но продавщица немедленно согласилась отправить их на фабрику, чтобы обувь починили или вернули деньги. Смогут ли их вернуть к 4 января, когда я уезжаю? Может быть, фабрика закрыта на празднование Рождества и Нового года? Она набрала номер, чтобы выяснить это, и получила указания выдать мне новую пару прямо сейчас. Нужного размера в магазине не было. Ничего страшного. Несколькими звонками — и магазин в Кембридже согласился выслать ботинки почтой сегодня же. Я была ошеломлена. Проблему решили оперативно, по-деловому и доброжелательно, словно так и *надо было*, но с русской точки зрения такое поведение не укладывалось в голове.

Когда я уезжала, Галина слегла с воспалением легких. К счастью, за ней присматривали соседи, и ей удалось купить лекарства. В советские времена все покупали лекарства за свой счет, но тогда цены были мизерными, а теперь они взлетели до небес, одна из петербургских аптек принимала только валюту. Не можешь позволить себе лекарства — значит не можешь. В элегантной аптеке возле Андреевского рынка на Васильевском, с оригинальным интерьером XIX века, пальмами в кадках и фарфоровыми пестиками и ступками, продавался американский аспирин — 100 таблеток за 903 рубля (пенсия за две недели). Курс антибиотиков стоил 8000 (зарплата Галины за два месяца). Конечно, до определенной степени система продолжала работать. Молодой историк Сергей, коллега Галины, проснулся среди ночи с ужасной болью в животе. Вызвали врача, потом скорую, и через несколько часов его открывшуюся язву уже прооперировали. Но для болезней время было явно неподходящим. Летом у Галины стало нарывать десну. Прошла неделя, прежде чем ей смогли поставить диагноз — в стоматологии не было пленки для рентгеновских снимков, и рентген делали только тем, кто приносил куски старой пленки. Обезболивающих у нее не было. Когда, в конце концов, больной зуб удалили, без наркоза, Галина упала в обморок.

— Ну, что нового? — спросила я у друга, встретившего меня в аэропорту по возвращении.

— Вводят систему медицинского страхования, — ответил он. — Работодатель будет вычитать пять процентов из зарплаты на страховые взносы.

— А как изменится медицинская помощь? — спросила я.

— Насколько я понимаю, — сказал он, — никак. Лечить будут так же, как раньше.

И что же изменилось? Лучшая больница в городе — бывшая партийная «Сведловка» — в 1992 году предлагала программу, по которой, заключив договор на 2500 рублей, человек мог лечиться у них немного дешевле. Например, двухнедельное пребывание в больнице по такому договору (без операции) стоило 15 000 рублей (зарплата Галины за четыре месяца). Зимой началась эпидемия дифтерии (на 1 января — 845 случаев, в четыре раза больше, чем в 1992-м), а за ней — гриппа. Ввели массовую вакцинацию, но не для пенсионеров. В условиях дефицита вакцины подход, конечно, разумный, но слегка оскорбительный.

В середине февраля я на скором ночном поезде поехала в Москву. Билет стоил 400 рублей. В институте мне дали справку, позволявшую приобретать билеты на поезд и самолет за рубли. При обменном курсе 450 рублей за доллар это значило, что билет до Москвы обходился от 50 центов до 1 доллара в зависимости от категории поезда, а постельное белье и чай — 100 и 17 рублей соответственно. Билет на поезд от Москвы до Перми на Урале (24 часа езды) стоил 1 доллар 50 центов, от Перми до Екатеринбурга (ночь в поезде) — меньше доллара. В марте я слетала из Екатеринбурга в Томск в Сибири (2 часа полета) за 10 долларов и вернулась из Томска в Петербург за 30 долларов. В мае, когда мы с другом на месяц поехали из Москвы на Крайний Север, в кармане моих джинсов лежали 200 долларов — этого должно было хватить на все наши расходы.

Весна и лето 1993

К январю 1993 года большинство государственных магазинов — большие универмаги, продуктовые, магазины хозяйственных и электротоваров, книжные магазины и киоски союзпечати — приватизировали. Их ассортимент и набор услуг практически не изменились. И не удивительно: большинство

товаров продолжало поступать в магазины из оптовых государственных сетей, поставлявших большие партии: если в одном из магазинов на Васильевском был рис, можно было практически не сомневаться, что в других рис тоже есть. Продавцы все также пытались выжить на свою мизерную зарплату, слегка подворовывая и практически не обращая внимания на покупателей. За клиентов никто не боролся. В советские времена хозяйственные по понедельникам обычно не работали. Эту практику менять никто и не думал. В большинстве магазинов нужно было отстоять две очереди: сначала в кассу — оплатить и получить чек, а потом — к прилавку, чтобы забрать покупку. Иногда очередей было три: первая — чтобы взвесить сыр, вторая — оплатить его, третья — получить взвешенный кусок. И потом можно вставать в очередь за капустой.

Но все же кое-что к весне 1993 года (а весна приходит в Петербург в апреле) изменилось — старые государственные магазины наряду с обычными продуктами стали предлагать странный набор импортных — по заоблачным ценам. В маленькой булочной напротив моего дома продавался итальянский ликер «Амаретто» по цене, равной двухнедельной пенсии, и жвачка Wrigley. В Гостином дворе на Невском открылся магазин Littlewoods, торговавший за валюту, и отделы, где продавались водка «Смирнофф», мартини, всевозможный сомнительный импортный алкоголь, фруктовые соки, датское и сирийское печенье, шоколадные батончики неизвестных фирм, плохой бразильский растворимый кофе — все по астрономическим, в сравнении с российскими зарплатами, ценам.

В подвалах открывались новые частные магазинчики, торговавшие всем и сразу: кожаными куртками, телефонами, растворимым кофе, пепси-колой. Все они гордо именовались «салонами». Вначале я ошибочно полагала, что Петербург заполнили частные парикмахерские. Но быстро поняла, что неправя, придя в «салон», где продавали электроприборы и чайники, и увидев «Салон строительных материалов» и «Салон — книги и автозапчасти».

Появились новые, «западные» рестораны и бары (поговаривали, что паб John Bull Pub недалеко от Невского — очень аутентичный), совсем непохожие на те, что раньше

располагались в гостиницах «Интурист», или на первые кооперативные частные подвальные. Это были стильные заведения с хорошим дизайном, предлагавшие иностранное бочковое пиво, капучино и гамбургеры. И, как я уже рассказывала, к концу лета 1993 года открылись новые продуктовые с широким выбором.

У тротуара напротив магазина «Антанта» припарковалась ауди с кудрявым молодым человеком за рулем. Три бизнесмена в пальто из верблюжьей шерсти и шикарных кожаных туфлях, стоявшие у машины с водителем, оказались не финнами, а русскими. В валютном магазине «Невская звезда» гостиницы «Москва», где никогда не бывало никого, кроме закупавших водку финнов, вокруг стойки с шоколадками гонялись друг за другом два маленьких мальчика: они притормаживали только для того, чтобы попросить у папы (в джинсах и кожаной куртке) купить им шоколадки «Марс», но совершенно не расстраивались, когда он отказывал — у них и так было полно шоколада. Даже в грязном овощном напротив моего дома сделали косметический ремонт, и, вернувшись осенью 1993 года, я его не узнала: аккуратные, светлые стеклянные прилавки, полные фруктов и овощей (киви и персики), мяса и сыра (банка тушенки за 1000 рублей или 1 доллар), алкоголя и шоколада (бутылка вина — тоже 1000, коньяк — 3000).

Однако для большинства населения, и для пенсионеров в особенности, найти доступные продукты было все так же сложно. Цены на продовольственные товары продолжали расти. Я вспомнила Берлин 1920-х годов: мне всегда хотелось узнать, как живется при гиперинфляции. В июле — декабре 1992 года стало, пожалуй, сложнее всего — цены на основные продукты питания (ржаной хлеб, молоко, масло и сыр) могли удвоиться за месяц. За два года (сентябрь 1992 — сентябрь 1994-го) буханка ржаного хлеба подорожала с 13 до 500 рублей, килограмм сыра — со 170 до 6000, картошка — с 25 до 900 рублей. Потребительская корзина (хлеб, масло, сыр, картофель, яйца, помидоры), в октябре 1992 года обходившаяся в 600 рублей, в октябре 1993-го стоила уже 3800, а в сентябре 1994-го — почти 11 000 рублей. (В долларах: 1,75 в октябре 92-го; 3,50 в октябре 93-го; 6,00 в сентябре 1994-го). В 1993 году начали резко расти цены на железнодорожные билеты, проезд в метро, телефонную

связь. К 1994 году билет на поезд до Москвы стал стоить уже не 1 доллар, а 3,5 (7000 рублей), но коммунальные услуги и билеты в театр оставались дешевыми. Ветераны-блокадники (но не обычные пенсионеры) получили право бесплатного проезда на общественном транспорте.

В ноябре 1992 года зарплата преподавателя составляла 4000 рублей, в ноябре 1993-го Галина получала, если зарплату не задерживали, около 60 000, то есть в пятнадцать раз больше. Зарплата у моих коллег из Института социологии оставалась мизерной. Стала ли Галина богаче, чем год назад? Как-то не чувствовалось. Причиной этого, возможно, стал не только относительный рост цен, но и качественное изменение набора товаров. Осенью 1992 года я старалась не тратить больше 4000 рублей в месяц. «Просто упрямство», — говорил Андрей Алексеев, что мне было неприятно слышать от человека, старавшегося проверять теорию практикой. И мне удавалось не тратить больше, я даже могла покупать мясо, но если нужно было купить кому-то подарок на день рождения, то мой бюджет трещал по швам. Могла бы я прожить на 60 000 в ноябре 1993-го? Да, если бы ела то же, что и в прошлом году, не звонила в другие города и страны, не ездила в Москву и не покупала подарков, если бы мои расходы ограничивались продуктами, газетами, проездными, напитками и квартплатой. Но теперь магазины ломались от товаров — продуктов, вина, шоколада, мыла, шампуня, стиральных порошков, импортных товаров, фруктов, — и люди чувствовали себя бедней, поскольку не могли их купить. Я поняла, что меняю свое отношение. Если весной мне было психологически сложно покупать импортные или очень дорогие продукты, обходившиеся в месячную пенсию, то сейчас все это изобилие и толпы народу в магазинах опять возвращали меня к привычкам западного потребителя.

Как справлялись с ситуацией петербуржцы? Хуже всего приходилось одиноким пенсионерам. Несмотря на городские программы бесплатного питания и распределения гуманитарной помощи, большинство оставались совершенно беззащитными, потеряв все сбережения, в том числе отложенное на похороны. Представители интеллигенции, работавшие в госучреждениях, в особенности неспособные взяться за какой-либо бизнес, едва

сводили концы с концами. «Вот видишь, — говорила мне Галина, когда мы зашли в дорогуший магазин, — *абсолютно ничего нет*». Она имела в виду, что нет ничего, что она могла бы себе позволить. Старшему поколению было очень сложно с этим смириться. В советские времена, если в магазине что-то продавалось, большинство могло позволить себе это купить, проблема заключалась в том, что торговать было особенно нечем. Простые покупатели никак не могли взять в толк, что появилось множество товаров и магазинов, предназначенных для людей, живших в абсолютно другом мире. Все знали, что партийные руководители и балерины живут не так, как все, но их магазинов никто не видел. Теперь же они были на каждом углу.

Мы еще поговорим на эту тему после того, как я расскажу о поездке на Крайний Север, но сначала посмотрим, что изменилось в обычной жизни города, а что осталось прежним.

Меняющийся город и старые порядки

Заводские здания красного кирпича, построенные еще в XIX веке, с выросшими вокруг них жилыми кварталами, судостроительные верфи, краны и причалы по берегам Невы, даже в центральной части города, всегда добавляли ему очарования. Небо, особенно в ясный морозный день, украшали столбы дыма из заводских труб. Но в начале девяностых топливо стало дефицитным, заводы боролись за выживание и небо прояснилось.

В Петербурге, в отличие от крупных европейских городов и даже от Москвы, движения на улицах было мало: по разбитому асфальту гремели грузовики, ходили трамваи, троллейбусы и автобусы, иногда проезжали потрепанные легковушки. Иностранные машины были редкостью. Конкуренцию автобусам стали составлять желтые микроавтобусы («маршрутки») со сдвижными дверями и окнами и зачастую неопытными водителями. Дождавшись, пока наберется десять-двенадцать пассажиров, маршрутка пускалась в опасный путь. Однако летом 1993 года на улицах Петербурга уже встречались БМВ, а цена проезда в метро увеличилась с 5 копеек до 15 рублей. Строительные леса, тридцать лет скрывавшие Храм Спаса на Крови, наконец сняли.

В городе появилась реклама, иногда — на английском языке. В конце Васильевского острова, у порта, установили огромный щит: “Two thirds of the globe is covered by water, *The Economist* covers the other third”*. Метро обклеили плакатами с рекламой сигарет «Мальборо». Мэр приказал убрать их, но метро он не контролировал. Стоя на движущемся эскалаторе, я не верила своим ушам, слушая бесстрастный голос диктора, предлагавшего колеса для игры в рулетку от фирмы, расположенной во дворце Кшесинской (где в 1917 году была штаб-квартира большевиков, а позже — Музей революции). Теперь туда приглашала красная бегущая строка рекламы в метро: «Все для казино — блэк джек, рулетка».

Телеэкраны заполонила реклама компании Procter and Gamble: крем Oil of Ulay (по цене авиабилета до Сибири и обратно), лосьон Old Spice, шампунь Wash and Go. Появилось мыло Lux и Camay, стиральный порошок Omo (в десять раз дороже российского стирального порошка, обладавшего пугающей способностью делать вещи *серыми* во время стирки, но по мере высыхания белизна восстанавливалась). Теперь рекламировали только самое дорогое — отпуск на Багамах или в Индии, шредеры для бумаг, автомобили или, неожиданно, биржи и холдинговые компании. Мы с Галиной озадаченно смотрели на пустой экран, пока голос за кадром повторял: «Наша компания решила сделать рекламу простой, — пауза, — очень простой, — снова пауза. — Компания Seldon», — и на экране возникало слово “Seldon”. Мы так никогда и не узнали, что же она предлагала.

К 1993 году рынок начал разрушать сложившиеся отношения, иерархии и обычаи. Но говорить о том, что он вытеснил старые привычки, было слишком рано. Накопительство было у людей в крови, особенно у переживших блокаду — это был способ бороться с неожиданным дефицитом. А в условиях экономики дефицита, когда слишком много людей претендует на слишком малое количество товаров, — каковой и была советская экономика, — круг друзей и знакомых приобретает особое значение. Хотя родственники и друзья являлись важной частью

* Две трети Земли покрывает вода, оставшуюся треть — журнал «Экономист» (англ.).

жизни каждого человека, некоторые отношения в СССР основывались исключительно на выгоде: репетиторство для поступления в ВУЗ, консультация врача или юриста были «товаром», который можно было обменять на то, что тебя куда-то отвезут на машине, подкинут деревенских продуктов или запишут к парикмахеру в удобное время. Такой способ существования с использованием связей и бартера процветал до конца девяностых, он вошел в привычку, да и сама среда с отсутствием товаров или высокими ценами поощряла его.

Секретарши часами висели на телефонах, пытаясь узнать, где можно достать сахара или аспирина или договориться, чтобы ребенка отвезли к бабушке на другой конец города. Неудивительно, что эти разговоры были важнее ожидающих посетителей. Большинство русских крайне неохотно назначали встречи позже, чем на завтрашний день. Кто знает, что нас ждет послезавтра? О том, чтобы отправить письмо и за достаточно долгий срок договориться о будущей встрече, не могло быть и речи. Это означало, что нужно было договариваться по телефону, обычно не с первого раза, и что договоренность могла быть в последний момент отменена. Зачастую секретарши не имели понятия, где находится их босс и будет ли возможность увидеть его сегодня; редко кто, вне зависимости от сферы деятельности, вел расписание встреч. Совершенно четкие, казалось бы, договоренности и планы никто не соблюдал.

Хотя объективная реальность в начале девяностых не способствовала составлению далекоидущих планов, нельзя сбрасывать со счетов и традиции. Многие русские имеют очень отдаленное представление о том, что такое структурированный день. Конечно, люди с нормированным рабочим днем должны его соблюдать, но мало кто рассматривает часы сна и еды как опорные точки в графике дня. «В Оксфорде, — рассказывали мои русские коллеги, вернувшись домой, — все обедают в час». В Ленинграде или Санкт-Петербурге обеденного времени не существовало. Никогда нельзя было угадать, будет кто-то на рабочем месте или нет. Некоторые магазины закрывались на обед в час, некоторые — в два, а некоторые — в три. Ты ел, когда был голоден, и ложился спать, когда тебя клонило ко сну или больше нечем было заняться. Я восхищалась

способностью многих людей спать очень долго или обходиться практически без сна, поесть три раза за три часа или обходиться без еды по двенадцать часов. Все эти советские «планы», достижение целей, отчеты о запланированных успехах, не являлись ли они отчаянной попыткой создать хоть какое-то подобие структуры?

О безработице часто говорили, но стиль работы бесчисленных секретарш в правительственных учреждениях или новых коммерческих предприятиях не менялся. Обычно все это выглядело следующим образом: в приемной чиновника, депутата или директора за столом с телефоном сидит секретарша. Мало у кого есть пишущая машинка, не говоря уже о компьютере. Тихо играет радио. Секретарша говорит по телефону: с сыном, мамой, подругой, речь обычно идет о чьих-то болезнях или планах на день. В некоторых фирмах в приемной стоят постоянно работающие телевизоры, разгоняя скуку. Иногда начальнику приходит в голову, что надо иметь не одну секретаршу, а две — чтобы писать протоколы встреч с клиентами, — но при этом ни одна из них не владеет стенографией.

Интересно, как на это реагировали западные бизнесмены. Существуют ли чьи-то воспоминания? В «Астории», которую мы уже не раз упоминали, теперь был великолепный бизнес-центр. За столом сидела прекрасно одетая молодая женщина и смотрела громадный цветной телевизор. Я подошла узнать, можно ли позвонить в Нью-Йорк, но пришла в ужас от расценок — 75 долларов минута. «Лучше сходите в гостиницу “Европа”, — посоветовала она. — Там минута стоит 10 долларов».

Я не говорю, что все только сидели и бездельничали. У некоторых был очень плотный рабочий график. Просто казалось, что всё против того, чтобы работать продуктивно. К тому же правила так называемой «честной игры» постоянно менялись. Работающего закона о коррупции не существовало, чиновникам не нужно было декларировать свое участие в коммерческих предприятиях, спекулянты разводили спирт и торговали им, стали появляться фальшивые деньги (фальшивомонетчик из Кореи заявлял в интервью по телевизору, что делал это, чтобы денег хватало даже бедным). Ядова, которого жена отправила менять доллары, обманул спекулянт — так свернул деньги, что

казалось, что их в пять раз больше. Чтобы не расстраивать жену, Ядов, прийдя домой, сделал то же самое.

Излюбленным местом для переговоров и заключения сделок были общественные бани. Двум друзьям предложили поехать за дешевым спиртом: на следующее утро в шесть они должны были стоять с пустыми бутылками у одной из конечных станций метро. Там большой Эдик на маленьком грузовичке встретил их и повез по темным пригородам в воинскую часть. Часовой открыл Эдику ворота, и они въехали на территорию части. В одном из помещений компания снова миновала караульного, подошла к двери, которую Эдик открыл с помощью кода, и оказалась на складе у огромной цистерны, у которой тоже стоял часовой. Друзья наполнили бутылки, рассчитались, и большой Эдик вывел их на гражданскую территорию мимо караульных, один из которых отдал им честь. Ясно, что договаривались с командиром части.

Все были уверены, что рынки контролируются южной мафией. Криминальные разборки случались постоянно. Как-то мое внимание привлекла довольно большая толпа грузин, слонявшихся у лотков возле станции метро. Подъехали две машины, за ними — сияющий лимузин, где на заднем сиденье спокойный и солидный мужчина непринужденно беседовал с предупредительным помощником. Небольшая кавалькада остановилась, двери распахнулись, и вышло человек шесть. Босс и ожидавшие его люди исчезли в соседнем здании. Возможно, он приехал получить ежемесячную мзду у спекулянтов, а может, решить какой-то спор. Недавно милиция арестовала одного из главарей преступной группировки (его первый допрос показали по телевидению). На вопрос об адресе проживания он назвал известную гостиницу, а позже нам показали один из его домов — великолепный особняк на одном из островов. Имя друга, владельца вольво, за рулем которого его взяли, арестованный вспомнить не смог.

Для молодежи город предоставлял бесконечное число неслыханных возможностей, но в том же городе жили и бездомные дети. В 1993 году в Петербурге более десяти тысяч бездомных детей ютились в подвалах, на вокзалах и в аэропорту. Кто-то сбежал из дома от родителей-алкоголиков, кого-то бросили,

кто-то не смог вынести жестокого обращения в детском доме. Большинство родились в городе или области, но некоторые приехали издалека. Дети — от пяти до восемнадцати лет — сбивались в небольшие банды, часто с собаками, и жили тем, что воровали, попрошайничали, собирали и сдавали пустые бутылки, занимались проституцией. Все поголовно курили, некоторые нюхали клей и бензин. Часто подростки в своем развитии останавливались в пяти-шестилетнем возрасте, у всех были вши и постоянно болел живот, поскольку питаться приходилось чем попало.

Двум равнодушным и инициативным женщинам удалось убедить заместителя мэра выделить комнаты в заброшенном общежитии для организации детского приюта. Мы с Эльмаром, знавшим этих женщин, пошли к ним в гости. Подмораживало, шел снег. Казалось, что находишься за городом: воздух стал чище, свежее, люди неспешно гуляли, останавливались поболтать.

На тот момент в трех отремонтированных квартирах жили 45 детей, в большинстве своем девочки. Их можно было принять за мальчиков: хриплые от постоянного курения голоса, хулиганские замашки — так они защищались от враждебного мира. Дети продолжали курить, им это не запрещали, только нужно было выйти на лестницу. Каждому был необходим постоянный присмотр, бездна внимания, индивидуальное обучение. Детей собрали по подвалам, кто-то пришел сам. У некоторых были явные психические отклонения. Крошечный пятилетний Петя, которого нашли завернутым в одеяла в одном из подвалов, — когда он попал в приют, то не мог даже говорить, — смотрел телевизор, крепко прижимая к себе куклу. У детей постарше дела с игрушками обстояли хуже. Кроме пазла, сделанного в Англии и изображавшего увитый розами домик под соломенной крышей, и набора шашек, не было ничего. Большую часть мебели и принадлежностей предоставила шведская благотворительная организация, носящая имя детской писательницы Астрид Линдгрен, поэтому приют назвали «Домом Астрид». Городские власти выделяли деньги на питание, которое закупали по оптовым ценам на базе, поставлявшей продукты для детских домов и больниц, а вот с лекарствами было сложно.

Режим в «Доме Астрид» был свободным, с единственным ограничением — все должны быть на местах к 9 вечера, когда главный вход запирался. Однажды вечером ребята натравили собак на случайно проходившего мимо душевнобольного. Сотрудники заперли двери и оставили всех ночевать на улице, сказав, что тем, кто так себя ведет, не место в нашем доме. Дети не поняли, почему их наказали, разожгли костер, чтобы согреться, и просидели вокруг него всю ночь. Они переживали, что расстроили воспитателей, но никак не могли взять в толк, из-за чего такой переполох. Постепенно собак становилось меньше. Воспитатели старались социализировать детей и найти им приемные семьи. Чтобы не нарушать закон, защитить детей и способствовать их усыновлению, приемных родителей оформляли «сотрудниками» дома, что давало им право получать выделенное на ребенка питание — продукты с оптовых баз. Несмотря на все усилия, старшим девочкам будущее по-прежнему не сулило ничего хорошего. Мне бы хотелось знать, как сложилась их судьба.

Расстояния в Петербурге дальние, тротуары плохие, магазины и офисы могли неожиданно оказаться закрытыми. Вечером ходить по пустынным улицам и темным дворам было опасно. В начале девяностых преступность резко выросла, но было ли в Петербурге опаснее, чем в Лондоне или Нью-Йорке? Сложно сказать. Один из моих коллег получил по голове железным прутком, когда проходил мимо дерущихся на улице людей. Юрий, спортивный шестидесятилетний мужчина, носил с собой нож. Однажды к нему на улице пристали двое: «Эй, постой!», — окликнули его и, когда он не остановился, ударили в челюсть. В ответ Юрий пырнул нападавшего ножом в живот. «Убивают!» — закричал тот, а его сообщник удрал. Вечером, когда я ехала домой в переполненном автобусе, русского мужчину толкнул южанин, тот в ответ обозвал его «черномордым». Мужчины вцепились друг другу в горло и пытались ударить соперника лбом. Большого вреда в тесноте они причинить не могли, но я почувствовала дурноту. Все стали очень вспыльчивыми и часто распускали руки. В воздухе повисло напряжение, усталость и раздражительность.

Глава 9

ОТ КАВКАЗА ДО СИБИРИ И ДАЛЬШЕ

В июле 1992 года моя квартира все еще была непригодна для проживания. Андрей Алексеев собирался в заповедник на Северном Кавказе — леса, альпийские луга, покрытые снегом горные вершины. Туда в начале восьмидесятых вместе с мужем, завучем одной из ленинградских школ, которого все звали просто Кузьмич, переехала его подруга детства Зина. Кузьмич с небольшой группой лесничих боролся с браконьерами, а Зина снимала показания метеоприборов (по средам в 3 часа дня) и составляла отчеты о лесной флоре, за что ей платили мизерную зарплату. В 1990 году Кузьмич умер от инфаркта. Зине, как вдове Кузьмича, оставили дом, и она приглашала родных и знакомых приезжать на лето. Летом 1991 года к ней приехал Андрей. Они стали парой, и Зина гостила у него в Петербурге. Теперь они собирались на Кавказ и предложили мне составить компанию. Андрей неважно себя чувствовал, температурил, накопилась усталость от работы в архиве и редактирования новой еженедельной газеты.

Краснодар: заповедник

С Московского вокзала мы отравлялись вшестером — трое взрослых, трое детей — и пятнадцать мест багажа. За несколько лет до этого с прилавков магазинов исчезли рюкзаки, но Зина где-то достала выкройку, бордовой и белой ткани, молнии и сшила два рюкзака — себе и Андрею. Наши вещи лежали в хозяйственных сумках, а еда на три дня дороги — в корзине. Ехали мы в самом дешевом, плацкартном, вагоне, где вдоль стены коридора расположены дополнительные спальные полки. Нам удалось поменяться местами с другими пассажирами, и мы

оказались в одном купе, что обеспечивало собственный отдельный столик. Всем выдали простыни и по одному полотенцу, два раза в день можно было брать кипяток для чая. Мы захватили из дома по эмалированной кружке и чайной ложке — без этого в поезде нельзя — и две бутылки под горячую воду.

В пять часов вечера в субботу поезд тронулся. Путь наш лежал на юг: вначале среди очаровательных русских пейзажей с деревянными домиками, прудами и речками, через Тулу, Курск и Белгород, потом по Украине, мимо гор отработанного шлама и покосившихся шахт Донбасса, пока, к утру понедельника, мы не въехали в море подсолнухов и за окнами не замелькали маленькие беленые домики Кубани. Поля, как это ни печально, стояли заброшенными и заросли сорняками. Мы очень часто ели — жареных кур, огурцы, котлеты, помидоры, хлеб, холодную вареную картошку, домашнее печенье из огромного пакета и постоянно пили чай. Андрей и Зина почти все время спали, а я играла в карты с детьми, Зиниными племянниками — двенадцатилетним Сергеем и семилетней Дашей, и с дочерью ее подруги, четырнадцатилетней Настей. Дети читали недавно переведенную на русский книгу «Лев, Колдунья и платяной шкаф».

В Белореченске, старом казацком поселке с маленькими домиками и тенистыми переулками, мы сошли с поезда и направились к автобусной остановке. Здесь скопилась волнующаяся очередь, автобус быстро заполнялся. Со своими пятнадцатью сумками мы протиснулись в конец автобуса и под крики кондуктора «Оплачиваем проезд!» потряслись в сторону райцентра — Майкопа, до которого было примерно 15 километров. Мы ехали стоя, в ужасной тесноте и духоте. В Майкопе, откуда уходил автобус на Гузерипль, мы снова пересчитали свои сумки и втиснулись в битком набитый троллейбус до автобусной станции. Там мы узнали, что дорогу размыло ливнем и автобусы ходят только на 30 километров, а нам нужно было проехать 60. Дождаться чего-то еще не было смысла, и мы взяли билеты, потом я и Зина сходили на рынок и купили единственное оставшееся там мясо — свежееобдранную нутрию и немного соленого сала, а еще корзину вишни. В Гузерипле мяса не продавали.

Автобус выехал из Майкопа, оставил позади палаточный военный лагерь и покатился по дороге среди деревень, где бродили свиньи, коровы и куры. В одном месте мы полчаса простояли — водитель внезапно решил, что мы должны оплатить хотя бы часть нашего багажа, но Андрей не соглашался и требовал показать правила. Другие пассажиры разделились примерно пополам и переругивались между собой, пока не удалось наконец договориться с водителем, и автобус снова завиял по грязной дороге вдоль неогороженного оврага к конечной остановке. Там мы вышли под морозящий дождь и остановились, глядя на свои пятнадцать сумок. Нам оставалось 30 километров пути. Сможем ли мы пройти их пешком? Я раздавала всем по фруктовой пастилке для поднятия настроения. Вскоре нам повезло: минут через тридцать на дороге показался грузовик с открытым кузовом, где двое мужчин держали напуганного жеребенка, отправлявшегося к новым хозяевам. Они согласились подвезти нас. Мы забрались в кузов грязного грузовика, уселись на свои сумки, стараясь не вляпаться в конский навоз и не получить копытом, и поехали, трясясь и подпрыгивая, вверх по горной дороге, через болота грязи после ливня, через узенький мост без перил в деревню, куда везли лошадь. Потом водитель довез и нас. Мы добрались!

В Гузерипле человек сто жителей. Деревянные домики с треугольными крышами, иногда покрытыми еловой дранкой, стоят далеко друга от друга. В овраге — широкая быстрая речка с живописным водопадом и небольшой электростанцией. Темно-зеленые горы вокруг речной долины поросли елями, соснами и буками. Работа есть только в заповеднике и на профсоюзной туристической базе. Но в 1992 году база была закрыта — в 1991-м никто не приехал. Три раза в неделю в 13:30 в поселок привозят хлеб, разгружают, и в 15 часов магазин открывается. Почтальонша, в распоряжении которой единственный телефон в поселке, приносит к магазину письма и газеты и раздает их стоящим в очереди. Ассортимент магазина состоял из печенья, каких-то конфет, банки баклажанной икры и нескольких банок рыбных консервов, а еще — двух мужских кепок, нескольких пар тапочек, носков, флаконов духов, детского платица, расчески и двух электрических лампочек. В один день могли торговать

рисом, в другой — мороженой рыбой, а однажды привезли сахар — по карточкам можно было купить два килограмма в месяц. В поселковом клубе раз в неделю показывали кино.

За хлебом чаще всего приходили женщины. С широкими обветренными лицами, металлическими зубами, в платьях из набивного ситца, некоторые в белых платках, они, казалось, сошли с советских фотографий. Но однажды, выходя из магазина со своими четырнадцатью буханками хлеба, мы столкнулись в дверях с бойким седым мужичком, одетым в черное, босым, с развевающейся бородой и блестящими глазами. «Кто это?» — оторопело спросила я. «Диоген, — объяснила Зина. — Приехал несколько лет назад, чтобы заниматься философией, но и печи хорошо кладет. Поначалу женщины его постоянно донимали — уж больно он странный, но потом привыкли. Он писал философскую книгу по многопартийной системе, пока однажды из Майкопа не явилась милиция и не конфисковала его пишущую машинку».

Весь следующий месяц в просторном деревянном доме Зины одновременно жило по двенадцать человек, иногда даже больше. Незадолго до нас приехала первая жена Андрея с его дочерью и внуками. По вечерам он читал им «Хоббита», а потом мы слушали новости «Радио Свобода» по большому скрипучему радиоприемнику. Приехавшие ненадолго спали на полу. Мы непонятным образом умудрялись все вместе усаживаться за стол на кухне. Электричество в доме было, но вот воду нужно было носить из колодца, а туалет находился во дворе. Мы ели когда придется, по очереди готовили и мыли посуду. В меню входили каши, зелень, чеснок, грибы, которые мы собирали в избытке, молодая картошка и хлеб. У соседей покупали свежее молоко и сметану. Пили чай с сахаром, пока сахар не закончился. Дети сидели под кустами в саду, словно маленькие зайчики, и ели смородину и клубнику. Потом они залезли на вишню и съели все ягоды. Я привезла с собой шоколад и шоколадное печенье. Их мы берегли для дней рождения. На Наташин день рождения мы съели нутрию, а на Дашин — зарезали одноглазого петуха. Это был большой петух, с черными, темно-зелеными и белыми перьями. Я села на скамейку, пытаюсь вспомнить, как ощипывают курицу. Даша сидела рядом и оплакивала его

смерть: «Он был такой красивый, такой хороший, он никогда не клевался, он подавал лапку, ах, какой красивый он был, ах, как ужасно, что он умер, другой петух такой драчун, а этот был такой добрый и такой красивый...». А я, под эту панихиду, щипала перья.

Лес вокруг нетронут и полон зверья: оленей, волков, кабанов и медведей. Небо подпирают огромные сосны, много елей и буков, похожих на английские, но с более пятнистыми стволами. С веток свисает тонкая паутина серо-зеленого мха, растущего только там, где воздух чистый. Упавшие стволы деревьев лежат в толстом слое перегноя под мягким ковром влажного мха. Склоны глубоких ущелий, по которым текут быстрые ледяные речки, сплошь заросли рододендронами. У тропинки, ведущей в горы, растут земляника и ежевика, а под елями — желтые, красные и коричневые грибы. В лесу абсолютная тишина, лишь изредка прерываемая криком птицы или стуком падающего дерева, гулко отдающимися в долине. Звери держатся подальше от людей. В лес ходят только работники заповедника и их гости, а когда мы гостили у Зины, все лесничие были в долине на сенокосе.

Иногда мы ходили в короткие походы, а один раз вчетвером — Зина, Андрей, двенадцатилетний Сергей и я — отправились в настоящий поход к высокогорным лугам и хижинам на высоте 2000 метров над уровнем моря. Захватив спальные мешки и полиэтиленовые плащи, хлеб, крупу, макароны, три банки тушенки, чеснок, соленое сало, чай, кофе, банку томатной пасты и шоколад, мы ушли на шесть дней. В стратегических точках стоят избушки лесников с лавками-лежанками, печкой, чайником и запасом сухих дров. На стенах высоко подвешены мешочки с запасом сухих продуктов — соль, макароны — так, чтобы не достали мыши, которые по ночам носятся прямо по спящим на лавках путешественникам.

Альпийские луга покрыты травой и цветами высотой по пояс — дикими ирисами, геранью, маргаритками, даже лилиями, а еще дальше в горы трава становится ниже, белые рододендроновые ковры уступают место вереску, горечавке и крошечным анемонам. Вокруг, насколько хватает глаз, снежные горные вершины. Мы встречали стада оленей, винторогих горных козлов, спугнули двух кабанов и зубра. Однажды дождливым

и туманным вечером, вымокнув с ног до головы от перехода вброд быстрых ручейков и мокрой высокой травы, мы заблудились среди горных кряжей. В другой раз нам пришлось ночевать в лесу под открытым небом во время грозы. Андрей и Сергей соорудили шалаш из веток и полиэтилена, и я крепко заснула в ямке под корнями огромной сосны. Запасы продуктов подошли к концу, и мы стали потихоньку спускаться — сначала по лугам, а потом по лесу, становившемуся все гуще и темнее, — обратно к поселку. Пока еще не совсем стемнело, кое-где под листьями можно было разглядеть белые грибы, а над лесными озерцами — кружащихся в танце светлячков.

Одним из гостей был друг Андрея Вилен Очаковский с Украины. В 1987 году Андрей получил письмо, адресованное «А. Н. Алексееву, наладчику, социологу, Человеку. Полиграфмаш, Ленинград». Письмо было от Вилены, шахтера Александровского угольного разреза. Он писал: «Здравствуй, мой дорогой побратим! Я твой ровесник и брат по счастью, которое нормальные люди, в отличие от нас, чудаков (а иногда и «дураков»!), называют несчастьем. Кроме возраста нас с тобой роднит и один фронт на тихой Второй гражданской войне, длящейся с 1924 года [год смерти Ленина]... Как и ты, я — «народник» и даже слесарь-наладчик (бывший грузчик, шофер, шахтер и проч.)...» Андрей пригласил его в Ленинград, и они стали близкими друзьями. Андрей немногословен — Вилен говорит без умолку. Андрей все делает медленно и не спеша — Вилен всегда в движении и импульсивен. Не успев приехать, он тут же надел спортивные брюки и, голый по пояс, принялся готовить ужин, добавляя в кастрюлю с супом то листья крапивы со двора, то приправы из своего рюкзака. Через полчаса после нашего знакомства он уже убеждал меня в необходимости поехать в Якутию, в алмазную столицу город Мирный, чтобы увидеть другую Россию, а наутро у него был готов план путешествия, которое он назвал «Операция “Алмаз”».

Операция «Алмаз»

И вот в мае 1993 года я, Вилен и его сын Фидель оказались в тайге, в 400 километрах северо-западнее Мирного. С вершины покрытого мхом утеса у слияния двух рек видно, как во все

стороны, куда ни глянь, простирается серо-зеленая тайга — тысячи километров лиственничных, сосновых и березовых лесов, пологих холмов и широчайших рек. Это — зона вечной мерзлоты. Нижние слои почвы никогда не оттаивают, и в конце мая по Вилюю все еще плывут льдины. Но длинные темные зимние ночи сменил бесконечный день. В полночь солнце еще не заходит, а за пару часов температура может меняться на 30 градусов в любую сторону. Кроме медведей, лосей, оленей, волков, соболей и птиц — орлов, кукушек и дятлов, единственные обитатели тайги — это горстка лесничих, геологические партии и буровики, которых иногда забрасывают сюда на вертолете. Друг Вилен, бывший прораб, седоватый Александр Аникеев был лесничим на площади, равной половине Англии. В стратегических точках по берегам рек он поставил прочные деревянные избушки с банями, в одной из них — на слиянии рек Лахарчана и Вилюй — мы и остановились.

Вода в Вилюе неумолимо поднималась. По радио, работавшему от случая к случаю, нам сообщили, что вертолета не будет еще несколько дней. Аникеев установил шест, чтобы отмечать уровень воды, и начал перетаскивать бочки подальше от берега. Я помогала вычерпывать воду из ледника, но Вилену больше нравилось, когда я сидела с блокнотом на коленях. «Когда я вижу, как ты работаешь, — говорил он, — то чувствую, что принадлежу к миру международной науки». В тех обстоятельствах было сложно сконцентрироваться на науке, и я стала писать о приключениях.

За несколько недель до этого мы с Виленом, вооружившись рюкзаками, разрешением для меня покупать билеты за рубли и справкой от директора Института социологии Ядова, подтверждавшей, что мы являемся участниками исследовательского проекта, выехали из Москвы в аэропорт. У нас были рубли, чтобы купить билеты до Иркутска — первого отрезка пути в направлении Мирного. На ближайшие рейсы билетов не было. Вилен растерялся. Я обошла кассы и постучала в дверь с табличкой «Администрация». Мне повезло — за столом скучал молодой человек. Я объяснила нашу ситуацию и стала умолять помочь нам. Он оживился — не каждый день к нему приходили просящие о помощи англичанки — и снял телефонную трубку.

Через десять минут в третьем окошке нам продали два билета на ближайший рейс до Иркутска. У меня в кармане джинсов было сто долларов мелкими купюрами, еще сто я отдала Вилену. Этого должно было хватить нам на наше путешествие в течение месяца, и Вилен взял на себя обязанности казначея — покупал билеты и продукты, платил пилоту вертолета или водителю грузовика, оставлял какую-то сумму знакомым, у которых мы ночевали. Когда в июне мы вернулись в Петербург, у нас еще оставалось несколько долларов.

Мы вылетели из Москвы теплым летним вечером и к концу короткой ночи прилетели в Иркутск, где было немногим выше нуля. Нас встречал Геннадий Хороших — высокий мужчина с куполообразной головой, голубыми глазами и неряшливой бородой. Вилен поцеловался с ним сквозь решетку ограждения, и мы вышли на площадь перед аэровокзалом: в 1993 году она выглядела крайне непривлекательно — пивные киоски, пьяные, старые ржавые такси и «новые русские» в сверкающих машинах с охранниками. Раскинувшийся на берегу Байкала Иркутск производит впечатление торгового города: здесь сходятся дороги, сюда съехались и остались жить люди разных культур. Школьный учитель Геннадий, писатель и политический активист, был одним из основателей Христианско-демократического союза Иркутска, а позже стал председателем городской комиссии по правам человека. Он живет со своей женой и дочерью в одноэтажном деревянном доме, который построил его отец в 1950-х годах. Рядом конечная остановка трамвая. Между домами земляные тропинки, есть электричество, но нет водопровода и канализации. Зимой воду привозят на машине в больших бидонах, летом она течет из трубы в саду. Два дня мы проговорили о политике, прошлой и сегодняшней, съездили на автобусе на озеро Байкал, чтобы встретиться с местным поэтом, но не застали его, а потом Вилен и я сели в маленький самолет и полетели на север.

Прежде чем описать наши таежные приключения, не могу не рассказать историю Вилену. Не потому что он типичный представитель нашего поколения, вовсе нет, а потому что в его лице вы познакомитесь с бунтовщиком, талантливым бунтовщиком, и узнаете, во что ему обошелся такой характер. Он жил далеко от Ленинграда, но в той же стране.

Сага о Вилене

Хотя я и назвала Вилену бывшим шахтером, но это верно лишь отчасти. Его нельзя описать в двух словах. Родился он в 1937 году в украинском городке под Одессой. Его родители были евреями, но это проявлялось лишь в желании матери Вилену женить его на еврейской девушке и дать ему уважаемую профессию. Его отец, электрик, оставался верным сталинистом до самой своей смерти в конце 1970-х. Своего второго сына он назвал Виленом, в память о *Владимире Ильиче Ленине*. Отец всегда был неподкупен, никогда не брал взятку, даже продуктами в самые голодные годы, и за это (но вряд ли за что-то еще) Вилен его уважал. Возможно, именно от отца Вилен унаследовал пламенную веру в коммунистические идеалы и непоколебимую прямолинейность натуры. Эта смесь, вкупе с неистребимой привычкой подкалывать начальство, стоила ему очень дорого. Небольшого роста, широкоплечий, с черными волосами и голубыми глазами, прирожденный организатор, постоянно ищущий точки приложения для своей энергии, до революции Вилен стал бы большевиком. Но он окончил школу в 1953 году и поэтому хотел быть советским разведчиком и разоблачать империалистических шпионов. В школу КГБ его не приняли, пришлось пойти учиться на электрика. Потом Вилену призвали в армию и, к великой радости, направили в отдел радиоразведки, где он учил английский и перехватывал переговоры американских пилотов.

В армии он начал делать то, что потом делал везде, где бы ни оказался: стал выпускать сатирическую стенгазету. Писать для Вилены не сложнее, чем говорить, особенно ему удается «журналистика в стихах». Придя куда-нибудь на работу, он за пару недель находил двух-трех человек, способных рисовать и писать, и появлялась стенгазета. Ее дальнейшая судьба зависела от отношения начальства: если, как это случилось в армии, начальство было настроено доброжелательно, то газета могла выходить не один месяц. Но в неприятную ситуацию в армии он попал совсем из-за другого. Как-то раз на политзанятиях, во время лекции бездарного замполита, которую никто не слушал, Вилен взорвался:

— Товарищ майор! Нам тошно воспринимать Ваши идейные излияния. Эту муть голубую с четвертого класса нам вдалбливали на уроках истории, на работе — парторги. Долбят и здесь в армии на политзанятиях... И вот теперь еще вы привезли нам эту муть из академии. А сейчас посмотрите на аудиторию. Видите? Никто не играет в морской бой, не читает газеты. Почему? Отвечу! Потому что мои слова для аудитории новые, свежие, а не протухшие, как ваши.

— Батальон! Слушай мою команду! Разойдись! Политзанятия окончены! — заорал офицер в ярости. — Рядовой Очаковский, через одну минуту явиться в мой кабинет!

Вилена на десять дней посадили на гауптвахту, обвинив в «организации несанкционированного митинга».

Вилену как-то удалось дослужить в армии, получая и прекрасные характеристики, и поощрения за спортивные успехи, и дисциплинарные взыскания. За три года службы он пришел к некоторым выводам относительно общества, в котором жил, и придерживался их в последующие тридцать лет. Политические разногласия с отцом выливались буквально в драки. После секретного доклада Хрущева на XX съезде КПСС Вилен обвинил отца в трусости: «Батя, как же это так? Как же ты мог служить этим зверям Сталину, Ежову, Берию? Как ты мог молчать, когда расстреливали «врагов народа» без вины и даже без суда и следствия?... Ты ведь знал, что они не враги. Ведь были среди них и твои товарищи по работе, соратники, однокашники!... Эх, батя, батя. Молчишь? Ждешь дальнейших указаний?... А мне вот стыдно... что я оказался легковерным дураком, уверовавшим в Сталина как в бога. Помнишь, как мы вместе плакали, когда он подох. Я даже поэму сквозь слезы написал — “На смерть горного орла”». — «Замолчи, контра! — резко оборвал его отец. — Если бы я тогда не молчал, не было бы тебя! И вообще, ты еще для этой темы — зеленый. Желторотик!» — «Лучше быть зеленым, чем серым! И вообще, товарищ парторг, где Ваша большевистская дисциплина? Партийный съезд осуждает “культ личности Сталина”, а Вы сталинку носите на вашей марксистско-ленинской голове». Отец в ярости бросился на него с кулаками, но у Вилена за плечами к тому времени были четыре года занятий фехтованием, гирями, волейболом и боксом, и отец

моментально оказался на лопатках, а на шум из кухни прибежала мама, размахивая полотенцем и фартуком, словно спортивный судья, и попыталась их успокоить.

В армии Вилен на собственном опыте понял, что среди членов коммунистической партии полно невежественных и жестоких маленьких сталиных. В 1958 году он мечтал очистить партию Ленина от грязи. Он верил, что это возможно, потому что ему встречались и уважаемые, и преданные коммунисты. Ленин был его героем и источником вдохновения. Вместе с другом он разработал теорию — «в борьбе с жлобами, военными и штатскими, партийными и комсомольскими и т. д., хороши и нравственны ВСЕ средства, кроме убийства, изнасилования, воровства и рэкета». Нужно было учить других и подавать им пример.

Отслужив, Вилен подал документы в Одесскую школу милиции, получил отличную оценку за свое сочинение «СССР — оплот мира» и был принят. Через два года его отчислили. Большинство офицеров милиции, к огромному разочарованию Вилену, не уважали закон и ставили отличные оценки по практике тем, кто задерживал и избивал невинных жителей, предъявляя им обвинение в хулиганстве. Он написал статью «Школа держиморд», отправил ее в редакцию всесоюзного журнала «Советская милиция» и стал терпеливо ждать публикации. Вместо этого появился полковник из Министерства внутренних дел. Вилен отказался отвечать на его вопросы, поскольку писал не в МВД, а в редакцию, и говорить готов только с журналистом. После этого «визита» на него ополчились все офицеры, а Вилен дополнил свою статью рассказом о приезде полковника и отправил в молодежную газету «Комсомольская правда». На этот раз приехал журналист, но лишь для того, чтобы терпеливо объяснить, что газета не будет публиковать материалы с критикой милиции тогда, когда Центральный Комитет заботится об оказании ей всемерной поддержки. Вилен понял, что оказался в полной изоляции. Хотя некоторые курсанты и соглашались с ним, но публично его поддерживать никто не собирался. Запланировали открытое комсомольское собрание для рассмотрения вопроса о его исключении. Это был момент его триумфа: Вилен договорился с двумя друзьями, что они потребуют зачитать статью

на собрании, чтобы все ознакомились с ее клеветническим содержанием. Председательствующий партийный секретарь был вынужден согласиться. Свое (и вправду разоблачительное) описание некоторых одиозных персонажей школы Вилен читал перед переполненным залом под взрывы смеха, топот сапог и аплодисменты. Собрание спешно объявили закрытым, и в тот же день Вилен получил приказ о своем отчислении — он был напечатан и подписан накануне.

Ему было двадцать три года, работы не было, но была твердая уверенность, что именно его поколение должно построить свободное от сталинизма социалистическое общество. За плечами было начальное юридическое образование и знание приемов самообороны, и это могло пригодиться. Также он пришел к выводу, что в одиночку действовать бессмысленно: единственной возможностью победить власти предрезающие были коллективные действия.

* * *

Несколькими годами ранее в Якутии — северной территории в четыре раза больше Франции, с населением в 500 тысяч человек — нашли месторождение алмазов. Было организовано два больших государственных предприятия: одно — для добычи и обработки алмазов (трест «Якуталмаз») и второе — для строительства электростанции («ВилуйГЭСстрой»). Все необходимое, кроме древесины, нужно было завозить. Перевалочным пунктом для всех поставок на север был выбран небольшой рыбацкий поселок Мухтуя, расположенный в ста пятидесяти километрах к югу от месторождения, на низком северном берегу огромной реки Лены. В 1963 году поселок переименовали в Ленск. Начался подвоз угля, керосина, строительных материалов, продуктов, и для их транспортировки, как и для добычи алмазов, строительства гидроэлектростанции и дороги, требовались рабочие руки. Оба предприятия организовали в Мухтуе (Ленске) склады и направили вербовщиков для набора рабочих во все уголки страны, включая Одессу. Вот так летом 1960 года Вилен подписал контракт на работу докером в Мухтуе и очутился, вместе с тремя парнями с Украины, в купе поезда на север. Ехали почти неделю,

а потом еще пять дней шли по реке на колесном дизельном теплоходе — одном из недавних приобретений речного флота, построенном венграми в эдвардианском стиле.

С воздуха Лена с пологими ровными берегами выглядит как широкая лента, вьющаяся среди лесных равнин. В начале шестидесятых Ленск, с беспорядочно разбросанными деревянными избушками, грязными дворами, новыми дощатыми бараками, палатками, кинотеатром, столовой № 1 и одноэтажными деревянными зданиями комитетов партии и комсомола, стоял в стороне от так называемой «базы»: порта, складов и автобаз, где все работали. Четверо парней — Вилен, Эдик, Олег и «Враг», прозванный так Виленом за свое возмутительное заявление, что если бы он был пилотом, то его первым желанием было бы разбомбить Кремль, — подружились. Они поселились в одной комнате общежития, организовали бригаду и получали все награды в порту за ударную работу. Вилен почти сразу же выбрали комсоргом, и он провел собрание с требованием выплачивать указанные в контрактах зарплаты, вылившееся в уличную демонстрацию. Но вскоре (вероятно, совсем не случайно) бригада попала под сокращение. Эдик и Враг уехали, а Олег устроился на работу на мотороремонтный завод, женился на женщине, которая работала бригадиром в доке, и прожил в Ленске до самой своей смерти в 1992 году.

В этих городах на краю ойкумены живут в основном русские и украинцы, но есть и другие национальности: башкиры, греки, поляки, чуваша, причудливо перемешанные между собой. Многие, привлеченные высокими заработками, приехали издалека, кто-то — из мест заключения в Сибири. Основную массу чернорабочих на Крайнем Севере всегда составляли бывшие уголовники. Вербовщики никому не отказывали. Сплошь покрытые татуировками руки выдают людей, просидевших в тюрьме долгие годы. Если ты работаешь в доках, то должен уметь защитить себя. Когда Вилен и его друзья только приехали, в общежитии свои порядки устанавливал Вася — очень грубый, но довольно плюгавый бывший уголовник, которому совсем не понравилось нежелание бригады признавать его авторитет. Однажды, когда Вилен слушал радио в холле, Вася стал приставать к нему с ножом в руках. Тут-то и пригодилась подготовка

в школе милиции: «Ну, давай, Вася, — поддразнивал его Вилен, пригнувшись и маня его рукой, — подходи ближе!» Вася начал приближаться, но внезапно бросил нож и побежал — чтобы больше уже не появляться.

Недолго проработав дорожным рабочим, Вилен, по предложению комитета комсомола, стал агитатором и организатором. Следующие полгода были одними из самых счастливых в его жизни: он писал статьи для местной газеты, организовал клуб фехтования, устроил сатирический музыкальный вечер в кинотеатре, заслуживший неодобрение официальных лиц, и — самое замечательное — ездил в маленькие поселки и городки вверх и вниз по реке и назначал секретарей комсомольских организаций из числа своих единомышленников. Однако счастьем не суждено было длиться вечно. Докеры базы устроили забастовку. Страсти накалялись. Парторг, отвечавший угрозами и бранью на требования рабочих, получил пощечину от молодого подслеповатого докера. Вилен тщетно пытался опубликовать статью о забастовке в местной газете, а когда парторг подал на молодого докера в суд, взялся его защищать. Вилен отчаянно боролся за право защищать его в судах всех уровней, вплоть до Верховного суда республики Якутия, но безуспешно. Обвиняемый получил три года тюрьмы, а Вилен сняли с комсомольской работы.

Осенью 1961 года один из друзей Вилену предупредил его, что им начинает интересоваться КГБ и ему было бы лучше уехать. Председатель спорткомитета в Мирном приглашал Вилену приехать: базе снабжения требовались грузчики — работа хорошо оплачиваемая, свободного времени остается достаточно, и тот согласился. За годы работы грузчиком Вилен собрал первый детский футбольный клуб, помогал строить первый деревянный стадион, организовал летний футбольный лагерь в Средней Азии для детей со всей Якутии, вел спортивный раздел в местной газете и читал свои стихи в литературном кружке. Он больше не пытался реорганизовать комсомол, но его детская футбольная школа «Пацаны, играющие в футбол» (ПИФ) была кооперативным предприятием. Несмотря на всесоюзный успех, администрация школу не одобряла: там царили нетрадиционные и «несоциалистические» порядки.

Однажды руководство пионерлагеря пригласило Вилену поработать летом вожатым, он взял на базе отпуск и принял приглашение, несмотря на то что вожатым платили меньше. Дети из его отряда жили в «Республике Робинзона», избрали президента, секретаря и принимали решения голосованием, а Вилен был советником президента. Его отряд был лучшим по поведению, а вот отношения Вилены с другими вожатыми часто не складывались. В Мирный с официальным визитом должен был приехать космонавт, Вилен рассказал об этом ребятам из своего отряда, и они уполномочили его организовать встречу с космонавтом. Он договорился с автобусным парком, что автобус сделает лишнюю остановку у лагеря, заберет детей, а потом привезет их обратно. И вот в назначенный день ребята в парадных пионерских формах и с букетами лесных цветов выбежали навстречу приближавшемуся автобусу, сели в него и уехали. День прошел великолепно: они были единственными детьми в городе, все познакомилось с космонавтом, а городская администрация была рада их появлению. А вот в лагере все было в бешенстве, и слова Вилены, что он тут ни при чем, что решение было принято демократическим путем, а голосование было проведено по всем правилам, разозлило всех еще больше.

Пятнадцать лет Вилен проработал грузчиком, а потом водителем на базе снабжения. Так как он мало пил и был на хорошем счету, руководство поручало ему ответственные задания: съездить забрать мешок с тремястами оленьими языками для банкетки в обкоме партии или получить в Иркутске четыре импортных спальных гарнитура, заказанных райкомовскими работниками. При такой работе он знал всех директоров магазинов, включая «полковника» — грозную даму в каракулевой шапке, директора магазина № 1, в котором с черного хода отоваривалась номенклатура. Он редко пользовался своими возможностями доставать дефицит. Жена Вилены жаловалась, что, кроме них, ковры есть у всех. Но однажды в кафе он увидел поэта Евтушенко и, так как алкоголя нигде не было, обратился к «полковнику». Его фразу «Один из самых знаменитых советских поэтов, Евтушенко, приехал в город, а мне нечего ему предложить...» оборвали. «Сколько тебе надо?» — «Шесть бутылок водки». — «Получи.

Что еще? Селедка, шпроты?» Теперь, в мае 1993-го, мы пришли, чтобы забрать мешок картошки для похода в тайгу. «Полковник» все еще работала, характер ее нисколько не изменился — увидев Вилену, она только гаркнула продавцу: «Мешок картошки!» и получила деньги.

За годы жизни в Мирном Вилен не пытался избираться на какую-либо должность, которая позволила бы ему открыто выступить против властей. Однажды, вернувшись из рейса, он узнал, что его выбрали профоргом. «Но это совсем не для меня! — запротестовал он. — Соберите завтра собрание, и чтобы первым пунктом повестки была моя отставка». На собрание пришли все, включая директора базы. Вилен поблагодарил собравшихся за оказанную честь, но заявил, что его кандидатура совершенно не подходит для этой должности. «Но почему, Вилен Яковлевич? — спросил директор. — Вас знают как хорошего рабочего, уважаемого, образованного человека». — «Проблема, — ответил Вилен, — в том, что вы некомпетентный и плохой директор — пожалуйста, не взывайте за правду, — и, если я буду председателем профорганизации, то моей обязанностью перед коллективом будет требовать вашей отставки, что будет очень неприятно для всех вовлеченных в эту ситуацию сторон; а как рядовой член профсоюза, я могу этого не делать, что и предпочел бы...» Такого рода остроумие, которым отличается Вилен, всегда привлекало к нему многих сослуживцев. Они обожали, когда он ставил начальника в дурацкое положение или просто обводил его вокруг пальца. «Давай, Виля! — слышался обычно шепот, — встань и выдай им!» Когда позже, во время работы на шахте, было нужно избрать президиум для ведения собрания, он мог быть заранее уверен, что его выберут, и его коллеги в таких случаях просили: «Виля, сядь рядом с директором, чтобы мы могли видеть его лицо, когда обнаружит, что сидит рядом с тобой». «Виля, — говорили шахтеры, — может заткнуть рот любому, даже этим московским шишкам». Это, однако, не означало, что он мог рассчитывать на своих сторонников в случае конфликта с руководством, и, зная это, он очень четко объяснял, что готов бороться только при наличии поддержки.

Для Вилены основным источником новостей в стране и в мире было радио «Свобода». Фидель помнит, как Вилен ходил

туда-сюда по квартире, прижимая к уху радиоприемник и стараясь расслышать что-то среди шума и постоянных помех. У него практически не было доступа к запрещенной или, в семидесятых, к диссидентской литературе. Ему было знакомо имя Сахарова, но не его произведения. А вот Солженицына он знал и, когда в 1973 году Геннадий Хороших привез из Иркутска письмо, которое он написал в поддержку Солженицына, Вилен тоже подписал его и отвез в Москву, чтобы попросить Евтушенко переправить письмо за границу. Евтушенко согласился, но взял ножницы и отрезал их подписи.

* * *

В 1976 году Вилен с семьей переехал в Горький (бывший и нынешний Нижний Новгород) — большой город на Волге. К этому времени у него родился второй ребенок — дочь Жанна, названная в честь Жанны д'Арк. Фидель устроился в престижную хоккейную школу, а Вилен — водителем на автомобильном заводе в Тольятти. Теперь он мог осуществить свою мечту: объездить СССР вдоль и поперек. К моменту ссылки Сахарова в Горький семья переехала обратно на Украину, в Александрию, Вилен устроился шахтером и стал выпускать стенгазету. Хотя с приходом восьмидесятых политическое будущее стало представляться еще более безрадостным, Вилен никогда не терял оптимизма и верил, что в один прекрасный день кто-то очистит партию от негодяев. Он переименовал КПСС в «Криминально-Политическую Систему Социализма», но сохранял уверенность, что она может возродиться, чтобы вести страну вперед. Нам необходимы пропаганда и печать, утверждал он. В дни московской Олимпиады-80 Вилен написал сатирическое стихотворение, которое начиналось словами:

Современный Чингисхан
захватил Афганистан,
подавил восстание чехов,
сделал русских бедней всех он.
Он — партийный император,
знаменитый литератор.

Книг дрянных его тома
многочисленной Дюма.
Люди ждут его смещения,
как ребенок — дня рожденья...

Он подписал стихотворение «Спартак» — Союз Правдоискателей, Антибюрократическое Революционное Товарищество Антибрежневских Коммунаров, размножил в пятистах экземплярах и распространил в Москве и Донецке. Но вскоре он решил, что так действовать бессмысленно. Ему казалось, что остались лишь два пути: организовать шахтеров и написать сатирический роман. «Может быть, — полушутя-полусерьезно говорил он Геннадию, — мне нужно испытать самое худшее из того, что может сделать система — лечение в психбольнице. В конце концов, я уже на свободе лет на десять больше, чем когда-либо рассчитывал».

Новым местом работы Вилен стал небольшой угольный разрез в 200 километрах от Донецка. К осени 1982 года он организовал там шахтерский комитет и почти закончил писать роман. Осознанно или неосознанно, он стремился к конфронтации и даже тут не мог удержаться, чтобы не разыграть секретаря парткома. Взяв томик Ленина, Вилен обернул его коричневой бумагой, подписал «А. Сахаров. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Нью-Йорк», положил в сумку и отдал женщине, выдававшей шахтерам лампы перед сменой, попросив передать знакомому, который зайдет позже. Он был уверен, что женщина заглянет в сумку и передаст ее партийному секретарю. Так и случилось. Его вызвали прямо из забоя на разговор к директору шахты, и он сразу догадался, о чем пойдет речь. Для ареста Вилен по обвинению в хранении антисоветской литературы послали шесть человек. Сначала обыскали его квартиру. «Дяди что-то потеряли? — спросила его маленькая дочь в недоумении. И постаралась помочь: — Папины цветные карандаши — на даче». Вереница милицейских машин потянулась на дачу, там нашли рукопись романа и другие бумаги и перекопали весь сад.

В ожидании суда Вилен отсидел шесть месяцев. Без особых приключений — он обладал сильным характером и крепким

телосложением, и уголовники оставляли его в покое. Медкомиссия признала его психически нормальным, но потом дело передали в Одесскую психиатрическую больницу, где другая комиссия во главе с профессором Д. Майером поставила диагноз «шизофрения». Профессор сказал Вилену: «Я внимательно ознакомился с вашими сочинениями. Это прямой подкоп под основы коммунизма». В суде необходимости не было: Вилена, в его отсутствие, приговорили к принудительному лечению в Днепропетровской психбольнице. Там он провел два года. Это были два года ада. Он не утратил чувства юмора (писал Геннадия, что находится в курортной государственной больнице — КГБ), мог видаться с семьей, но думал, что не выйдет оттуда до конца жизни и что и на самом деле может сойти с ума. В палатах было по пятнадцать человек, в основном преступники, откупившиеся от тюрьмы (им давали витамины), несколько действительно больных людей и не больше чем по одному политическому. Процветали изнасилования и садизм. Выжить политическому заключенному можно было, только согласившись со своим диагнозом и попросив о лечении, настаивать же на собственной нормальности значило подвергнуться еще более жестоким «процедурам». Но даже так Вилен порой терял сознание от лекарств: инсулин, трифтазин, галоперидол. Кормили исключительно кашей, только 7 ноября и 1 мая давали малюсенькие мясные котлетки.

Вилена спасли перестройка и сила характера. Весной 1986 года его перевели в обычную психиатрическую больницу, а в ноябре разрешили вернуться домой и получать пособие по болезни до получения результатов дополнительного обследования. Он слал письма в ЦК, прокуратуру, КГБ, его друзья и коллеги писали в его защиту. Он писал и Горбачеву, в котором видел лидера, способного наконец восстановить ленинскую партию. Ему Вилен рекомендовал объявить возобновление членства в партии, но только в новом, демократическом, понимании: провести на заводах и в учреждениях всеобщее закрытое голосование и так определить достойных быть членами партии. В результате, утверждал Вилен, останется лишь горстка хороших коммунистов, которые создадут партию нового типа. Он надеялся, что его наконец-то примут в партию.

В июне 1988 года Институт Сербского аннулировал диагноз «шизофрения», а 9 мая 1990-го Верховный суд Украины полностью реабилитировал его и постановил оплатить период вынужденного отсутствия на работе. К этому времени он уже вернулся на шахту, но теперь работал на поверхности — диспетчером в маленькой будочке. В июне 1989 года забастовала одна из бригад, отказываясь подниматься из забоя, пока не будут выполнены их условия по зарплате и улучшению условий труда. Руководство обратилось к Вилену с просьбой поговорить с бастующими, одновременно угрожая послать вниз «аварийную бригаду», чтобы «разобраться». Вилен знал, что это означало бы бойню. Он попросил бастующих выслать двух представителей для начала переговоров и поверить, что он не предаст их, на что шахтеры неохотно согласились. Провели собрание для обсуждения требований, с которого Вилен попросил удалиться генерального директора, «потому что здесь вам никто не верит и ваше присутствие только ухудшит дело», и приняли решение дожидаться прибытия представителей из Москвы. Московская комиссия поддержала требования шахтеров, и было созвано общее собрание для утверждения договора.

На собрании Вилен безуспешно предлагал сменить стратегию: проводить в каждой смене символические десятиминутные забастовки, в то же время выполняя норму; неработающей смене — пикетировать здания горкома и горсовета и требовать отставки партийной и советской администрации; организовать постоянно действующий забастовочный комитет, требуя увольнения нынешнего директора и избрания нового. «Виля, — раздалось из зала, — не подливай масла в огонь!» За договор проголосовали, и работа возобновилась. Через неделю забастовали шахтеры Кузбасса, потом Донбасса, и через год, когда ни одно из требований договора не было выполнено, шахтеры Александрии снова начали забастовку. Теперь они выбрали Вилену главой забастовочного комитета, но, даже при наличии комитета, для реальных действий сил не хватало. Вскоре Вилен решил выйти на пенсию. Теперь его занимала политическая деятельность другого рода: «Мемориал» — организация, защищающая права жертв политических репрессий, и «Рух» — Украинское движение за независимость.

Ленск и Мирный в 1993 году

В мае 1993-го лед ниже Ленска уже сошел, оставались только отдельные плывущие льдины и наледь вдоль берегов, но выше по течению река была замерзшей, поэтому корабли и баржи не ходили. Город сохранил атмосферу пограничного поселка — разбитые песчаные дороги не заасфальтированы, все заросло черемухой и березами, кругом бревна, кучи металлолома, японские автомобили и лайки. Застройка — уродливые бетонные многоквартирные дома с крошащимися потрескавшимися стенами, редкие приземистые кубики магазинов, металлические гаражи и маленькие деревянные избышки.

Город оставался полностью зависящим от внешних поставок перевалочным пунктом с двумя главными предприятиями. Все те же отлично сохранившиеся венгерские колесные теплоходы судоходной компании «Лена» ходят вниз и вверх по реке, но сейчас их задача прямо противоположная — люди покидают Ленск, а не приезжают сюда. Те, кто уезжает навсегда, летят самолетом, отправляя контейнеры с вещами на баржах. Они возвращаются в европейскую часть России, на Украину, в Казахстан, туда, где родились и где живут их родственники. Колесные теплоходы, к которым теперь цепляют баржи для автомобилей, перевозят отпускников — люди целыми семьями, прихватив и собак, едут в трехмесячные отпуска на запад и на юг. Движение на реке гораздо оживленнее, чем в шестидесятых, но редкие поселки с лесопильными заводами практически не изменились с тех пор, как впервые предстали перед глазами молодых рабочих в 1960-м. Мы остановились у дочери Олега, Наташи, в одном из блочных домов. Наташа, учительница русского языка и литературы, унаследовала прекрасные глаза от своей матери-бурятки. Ее муж Олег — сын украинца и якутки. Жили они на Пролетарской улице. Улицы в российских городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в 1990-х практически никогда не переименовывали. В Ленске коммунистической партии уже не существовало, но большие предприятия управляли городом точно так же, как и раньше.

Мы шли по пыльной улице к общежитию, от которого осталось лишь заваленное мусором пепелище, и вдруг встретили

старичка в коричневом костюме. Вилен радостно бросился к нему: «Иван Петрович, я так надеялся встретиться с вами! Может быть, вы меня помните — Очаковский, забастовка 1960 года?» Иван Петрович утвердительно, но настороженно улыбнулся в ответ. «Это подруга из Англии, — сказал Вилен, — не беспокойтесь, она не сотрудник английской разведки. Кажется, что все это было так давно, правда? Я не держу на вас зла. Я часто вспоминал, как вы сказали: “Очаковский — талантливый политический организатор, но его идеи полубезумны”. Особенно когда мне пытались приписать шизофрению. Вы читали интересную статью в «Комсомольской правде» в январе 1991-го, где упоминалась забастовка и где меня называли неизлечимым марксистом?» Обменявшись любезностями, мы разошлись в разные стороны. Вилен ликовал. «Это, — сказал он, — был парторг, скотина, который посадил молодого докера на три года, я здорово его прищучил. Но в то же время я их правда простил, а это они еще больше ненавидят».

В 1993 году Ленск с Мирным связывало гравийное шоссе, петлявшее через холмы, сосновые и лиственничные леса. Семь месяцев в году оно покрыто укатанным снегом. Мемориальные таблички отмечают места гибели попавших в аварию водителей грузовиков. Вдоль дороги несколько крохотных поселков дорожных рабочих: мешанина из деревянных бытовок, проволоки, телевизионных антенн и кафе для водителей, и один поселок побольше — Заря. Там есть чистенькая столовая, украшенная плакатом «Цвети и крепни, наша великая Родина, Союз Советских Социалистических Республик!», где подают лучшую еду, которую мне довелось попробовать в России. Мы проехали 250 километров в кабине КамАЗа с жизнерадостным шофером Вадимом из русско-польско-якутской семьи, он вез цемент дальше на север. Вадим приехал в Ленск пятнадцатилетним мальчиком. Когда умер Сталин, он был подростком, в 1960-х вступил в партию. Хотя он считал, что Сталин разрушил систему, что пришедшие после него к власти «партократы» мало что сделали для улучшения ситуации, ему никогда и в голову не приходило сомневаться в правильности руководящей роли партии. Он и его коллеги на базе приветствовали путч в августе 1991 года, они не любят Ельцина, тоже «партократа», развалившего страну

до основания, и не поддерживали его во время референдума 1993 года.

Издалека Мирный кажется городом из фантастической повести: на искусственных холмах голубого кимберлита стоят ярко-белые дома. Но стоит приблизиться, как все меняется. С пыльной дороги открывается вид на город, построенный рядом с огромным алмазным карьером и оказавшийся в грязной ловушке: его окружают груды отработанной породы голубого и коричневого цвета. К 1993-му блочные многоквартирные дома 1970-х и 1980-х годов постройки, стоящие на пропитанных нефтью отвалах, которые предохраняют их фундаменты от воздействия больших перепадов температур, обветшали и потрескались. Вокруг них сгрудились деревянные бытовки — «временки» конца пятидесятых и обшитые синей и зеленой вагонкой общежития. Асфальтовое покрытие есть только на двух-трех центральных улицах. Ленинградский проспект, построенный в начале шестидесятых рабочими из Ленинграда, ведет к главной площади города, где посреди цветочной клумбы возвышается огромная блестящая металлическая голова Ленина. С левой стороны находится гостиница, справа — здание городского совета, а сзади — Дворец культуры. Однако самое важное здание в те годы (да я уверена, и сейчас) — это центральный офис «Якуталмаза», владеющей городом алмазодобывающей компании. В его двухэтажном просторном вестибюле, опоясанном балконом с цветами, на фоне украшенной стеклянными имитациями алмазов драпировки все еще стоит памятник Ленину. Приватизация сюда еще на дошла. Город монопрофильный, и «Якуталмаз» не только владеет базой снабжения, но и оплачивает школы, больницу, профессиональную команду мини-футбола и субсидирует местную газету.

Мы прошли по перекинутым через грязь доскам, перебрались по деревянным ступенькам через трубы центрального отопления, идущие к домам от центральной котельной (земля слишком проморожена, чтобы их можно было закопать), к общежитию, где в одной из комнат жил сын Вилена Фидель, названный в честь Кастро. Фидель — профессиональный футболист, худощавый молодой человек с милой улыбкой — лежал на деревянной кровати и читал Ницше.

Тайга

Мы отправились в тайгу втроем — Вилен, Фидель и я, с рюкзаками, мешком картошки, двадцатью буханками хлеба, тремя кочанами капусты и сухофруктами. Вначале мы добрались на попутке до Чернышевского — поселка, появившегося на месте строительства плотины Вилюйской гидроэлектростанции в 1960-х, откуда на север летят вертолеты. Все семь месяцев зимы ночь здесь длится с 3 часов дня до 11 утра, но в короткое лето солнце не заходит. В шестидесятых здесь стояли только палатки и времянки. В 1993-м времянки никуда не делись, к ним только подвели электричество, а в некоторых сделали канализацию. Поселок раскинулся вдоль реки — путаница проводов, антенны, старые деревянные и новые, но очень неприглядные, железобетонные дома. На склоне холма — череда нарядных голубых и зеленых коттеджей, где живет начальство. У плотины — небольшая деревянная гостиница с видом на первый в Якутии крытый бассейн. Раньше здесь еще был ресторан и две столовых, где все обедали, но в 1992 году они закрылись. Некоторые продукты распределяют по карточкам — мясо, сгущенное молоко, муку, и нормы вполне достаточные, но фруктов и овощей не бывает совсем. Работающие на вредном производстве дополнительно получают сухое молоко и яичный порошок.

Работа есть только на гидроэлектростанции или на геологической станции, но в 1993 году рабочих мест уже не хватало, так же как и денег на выплату зарплат. Половина сотрудников к маю находилась в неоплачиваемом отпуске, в том числе и Гриша, сын комсомольского друга Вилены. Все торопились на дачи — была пора сажать — или уходили на охоту, и никто не устраивал протестов, а профсоюза в моногороде не было. В июне некоторых вызвали обратно на работу, но платили не деньгами, а карточками, по которым можно было получать товары в магазинах компании. Гриша — горный инженер, начальник каменоломни с четырьмя подчиненными. В прошлом году спроса на камень не было, а значит, работы было мало. На работе Гриша сидел, глядя на широкую реку, или читал и не знал, как будет кормить семью.

В тайге наладить радиоконтакт с Аникеевым было непросто. Но Гриша еще со школы знал одного пилота, который согласился

нас довести. Мы вместе с четырьмя буровиками, направлявшимися на север на двухнедельную вахту, втиснулись в нагруженный досками армейский вертолет. Еще до взлета откупорили первую бутылку водки, по кругу пошла алюминиевая кружка, все отщипывали куски от краюхи хлеба и ели квашеную капусту прямо руками. Рабочие курили, стряхивая пепел на грудку досок или в открытый иллюминатор. От мокрой земли солнце отражалось, словно от зеркала, лес под нами еще не зазеленел, река причудливо изгибалась и петляла, а серо-голубые холмы раскинулись до самого горизонта. Вертолет приземлился на поляне «у Аникеева», посадил нас и с грохотом улетел.

Мы точно попали куда нужно: вот остатки сгоревшей бани и следы прошлогоднего пожара вокруг. Аникеев построил новую избушку — одна комната с низким потолком и печкой, три деревянные кровати вдоль стен, два окошка, стол и полки. К ней пристроена баня и кладовка под односкатной крышей, набитая горшками, кастрюлями, ведрами, меховыми шкурками, кожами, мешками с продуктами, бочками. Здесь же аккуратная поленица, полдюжины топоров и место для костра. Рядом маленькая коптильня, ледник для мяса, пока не растаявший, и деревянный туалет с выдолбленным пнем вместо унитаза. В сарае-пристройке хранились инструменты. Кругом валялись старые бочки из-под бензина, канистры, консервные банки, бутылки из-под водки, рваная полиэтиленовая пленка, капканы, сети и мешки. В избе порядка было не многим больше. Нам оставалось только предполагать, что Аникеев и его семилетний внук ушли вверх по реке к другой избушке или на рыбалку.

Через три дня они приехали на маленькой моторке в сопровождении двух лаек. Мы оказались правы — они жили в другой избушке и приехали, чтобы проверить, все ли в порядке. Аникеев сразу стал распоряжаться: нужно приготовить рагу из лосятины и натопить баню, а потом идти ставить сети. На следующий день рано утром появились два буровика, поднимавшиеся по реке с только что подстреленным оленем, на завтрак мы приготовили тушеные ребра и сердце, вермишель, капустный салат и чай. Поев, они поплыли дальше. Следующие несколько дней мы не спеша занимались своими делами. Лед прошел. Когда ледоход в разгаре, река покрыта звенящей массой из хрусталя и алмазов,

которые, то кружась на месте, то ускоряясь, плывут вниз по течению. Последние льдины скрылись за поворотом, и вода в Вилюе начала подниматься. Аникеев был совершенно спокоен: вода в Вилюе поднимается высоко раз в 50 лет, а последний раз высокая вода была в прошлом году. Он собрался на рыбалку, но моторка не завелась, а на ремонт требовался целый день. Еще нужно было прибраться, закоптить рыбу и поставить памятник Лоту.

Лот был жизнерадостным якутом, помощником Аникеева. Его деревня исчезла с лица земли при строительстве гидроэлектростанции в шестидесятых годах, родственников у него не было. Вся его собственность состояла из собаки, которую тоже звали Лотом, и небольшого чемоданчика, где лежала одежда, коробки спичек, пули и документы, в том числе и дневник, который Лот аккуратно вел. Он обожал шокировать русских, залпом выпивая кружку оленьей крови или горстями глотая рыбы внутренности. «Когда придет мой час, — говорил он Аникееву, — похороны меня над обрывом, а на могилу поставь большой камень, чтобы медведь не выкопал». Мы сделали памятник, и в годовщину смерти Лота Фидель с маленьким Сашей установили его на место и в последний раз отсалютовали ему выстрелом из ружья, разнесшимся над рекой. Но Лота под камнем не было. Хотя Аникеев научил его плавать и он почти всегда надевал спасательный жилет, в мае прошлого года, когда лодка напоролась на затопленное бревно и перевернулась, Лот оказался в воде без жилета и запаниковал. Он не ухватился за лодку или свисающие кусты ольхи, а обхватил бревно, которое быстро уносило течение Лахарчаны. Аникеев не смог до него добраться, и Лота захлестнула ледяная вода.

Вечером солнце еще не село, и Вилен предложил подняться к памятнику. Мы залезли на каменистый обрыв, где на подушке из ярко-зеленого и белого мха, окруженный пробивающимися кустиками желтых цветов, лежал валун. Вокруг раскинулись темные, еще безлистые, фиолетовые таежные холмы. Слышалась дробь дятла и размеренное кукование кукушки. Когда мы спустились, то обнаружили, что вода все еще поднимается. На следующий день всем пришлось включаться в спасательную операцию — надо было спасти ледник, переносить вещи выше

на берег, освобождать нижние полки в кладовой. Потом мы спустились по реке к другой избушке, где вода уже заливала окна, а постели плавали под потолком. Вечером Вилен решил, что они с Фиделем будут по очереди дежурить. В пять утра Фидель всех разбудил — вода отрезает нас от большой земли, и мы скоро окажемся на острове, кладовки и ледник давно ушли под воду. Аникеев вышел в одних трусах, оценил ситуацию и пошел досыпать в баню, но через пару часов уже и он был согласен, что пора уезжать. У нас было две лодки: у одной сломан мотор, а вторая очень неустойчивая. Вилен и Фидель надели спасательные жилеты, вооружились веслами, сели в лодку со сломанным мотором и оттолкнулись от берега. Течение сразу же подхватило их. За ними, забрав все ценное, в другой лодке последовали Аникеев, маленький Саша и я. У Саши в руках была бутылка с запиской: мы просили нашедшего сообщить об этом ему в Мирный или мне в Оксфорд, на середине реки он бросил бутылку в воду. Собак мы забыли.

Аникеев старался не упускать из виду вторую лодку. Мы постоянно рисковали напороться на льдину или затонувшее бревно. Вода была ледяной, а течение очень сильным. Пристав к берегу в другом лагере, мы попросили буровиков помочь вытащить лодку. Через несколько часов нам из надувной лодки помахал знакомый — вчера его моторка перевернулась на стремнине и утонула, но ему удалось спасти надувашку, весло и собаку. На следующий день Аникеев съездил за собаками, и наш коллектив снова оказался в полном составе. Выше по склону у Аникеева была построена большая изба, где все и разместились: мы впятером спали на деревянных скамьях вдоль стен, у меня в ногах, возле печки, бродил в большой бутылки самогон, трое буровиков легли на оленьих шкурах на полу. Поймали огромную щуку и много другой рыбы, и Вилен трижды в день готовил рыбное и мясное рагу. Буровики построили баню и коптильню, Фидель вырезал из бревна огромный тотемный столб, я сидела и писала, а потом ходила на разведку с Сашей, прихватив деревянное ружье и собак на случай встречи с медведем.

— Ты хорошо лазишь по деревьям? — спросил Саша.

— Не очень, — ответила я, поглядев на хилые деревца, и решила не напоминать, что медведи отлично лазят по деревьям.

— Я тоже, — признался он.

Остановившись, Саша задумался.

— Ладно, — сказал он через некоторое время, — если нам попадется медведь, я возьму его на мушку, а ты со всех ног беги домой.

* * *

Я уже забыла, как мы возвращались в Ленск. Но потом вниз по реке плыли на пароме до старинного города Киренска. С собой мы везли кучу копченой рыбы, а я прихватила еще и большой олений рог. Потом поездом (или автобусом?) добрались до Иркутска. В последний день перед отъездом мы вместе с Геннадием гуляли по центральному парку — заросшему и зеленому, больше похожему на лес. На лавочках грелись на солнце старички. Маленькие девочки в легких летних платьицах и с большими белыми бантами в волосах играли в классики или прыгали через скакалку. Продавцы сахарной ваты предлагали на выбор зеленую или розовую вату, почему-то без палочек. Мы подошли к детской железной дороге под деревьями. Ее явно следовало бы покрасить, но все же, в отличие от других заржавевших аттракционов, она работала. Внезапно она напомнила мне о первой прочитанной мной книге о России — “Palaces on Monday”, вышедшей в издательстве «Паффин» в 1944 году, — истории о двух американских детях, приехавших в Россию к своему отцу, безработному инженеру, иммигрировавшему в поисках работы. Одним из их приключений, закончившихся в пионерском лагере на Черном море, было посещение маленькой железной дороги, построенной и управляемой детьми. В семь лет я не знала, на самом ли деле существует эта странная страна, название которой пишется большими буквами — СССР, или автор просто выдумал страну будущего.

«Парк — приятное место, — сказал Геннадий, — но стоит на костях. Здесь было Иерусалимское кладбище, которое в пятидесятых превратили в парк, а церковь — в Дворец культуры.

* «Дворцы в понедельник» (англ.).

Нужно уважать мертвых и вернуть его им». Восстановить вряд ли что получится, возразили мы с Виленом, но надо построить часовню. Парк мы покидали через большую обшарпанную арку со знакомой надписью «ЦПКиО — Центральный парк культуры и отдыха». Слева стоял Дворец культуры, а справа виднелись уцелевшие могилы партизан и советских героев, похороненных за стеной старого кладбища. Запущенные аллеи оскверненного кладбища — и это все, что осталось от былых надежд? Мы остановились посреди жаркой и пыльной улицы и около получаса говорили об этом. Ответа я не нашла до сих пор, но точно знаю, что он не может быть однозначным. «Мы должны думать о будущем, — сказал Геннадий, когда мы подошли к пустынной набережной Гагарина. — Когда наша партия придет к власти, здесь будут кафе, скамейки на солнце, это будет место, куда все будут приходить и говорить на разных языках». Думаю, что сейчас его мечта сбылась, но не совсем так, как он представлял.

Хотя Вилен носит на шее желто-синий украинский крест, его волосы убраны назад со лба широкой черной лентой. Он надел ее в тот день, когда украинцы выбрали своим президентом партийного функционера Кравчука, и обещает снять, когда его соотечественники одумаются: разгонят бывшую партийную элиту, все еще находящуюся у власти, и прекратят проводить националистическую политику. В 1989-м он писал: «Если свершится чудо и моя одиссея будет напечатана, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не диссидент. Я никогда не думал и тем более не говорил, что во всем нашем безобразии виноват социализм. Нет, то, что было, — это не социализм, не Советская власть. Трагизм нашего положения — в том, что носители добра всегда были в абсолютном меньшинстве, а должно быть наоборот. Именно это активное меньшинство сейчас помогает Горбачеву в том, что он начал. Когда ребята начинают плакаться, что “того нет, этого нет”, я им говорю: “Вы посмотрите, что он получил в наследство! Ему же помогать надо!”» Но уже через год он потерял надежду, что Горбачеву удастся возродить партию, а к 1992 году разуверился в идеях Ленина, в особенности относительно государственной собственности. Это, однако, не означало, что он видел что-то хорошее в тогдашней политической

ситуации в получившей независимость Украине. Хотя Вилен считает себя украинцем и любит украинский язык и культуру, однако лозунг «Украина для украинцев» и отказ в праве на гражданство людям других национальностей отнюдь не вызывают у него симпатии. Он для этого слишком интернационалист, и его очень угнетает распад Советского Союза на независимые национальные государства. Такая позиция не пользовалась популярностью в Украине ни в 1993 году, ни сегодня. Но, прежде чем поговорить об этом, давайте вернемся в Санкт-Петербург.

Глава 10

СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ

В июне мы с Виленом самолетом вернулись в Москву, а потом поездом доехали до Петербурга. На вокзале нас встречал Андрей. Вилен оставался пожить у него, а я, с оленьими рогами под мышкой, отправилась домой на Васильевский. Через несколько дней я собрала у себя своих друзей из шестидесятых на копченую рыбу.

Друзья из шестидесятых

Как шли их дела? Хотя они, возможно, и не согласились бы со мной, но мне казалось, что питаться они стали лучше — в магазинах были сыр, колбаса и конфеты, и иногда они могли себе это позволить. Семейный доход практически полностью уходил на питание. Эльмар и в этом году не стал нарушать многолетнюю традицию — отмечал свой день рождения 6 ноября вместе со школьными друзьями в квартире в Ботаническом саду. Но праздник получился невеселым, хотя это и был юбилей — шестидесятилетие. Тамаре не удалось накрыть стол с привычным размахом. Я купила вина, друзья разными путями достали водки и спирта. Впервые в жизни Эльмару пришлось задуматься — как бы заработать денег. Тамара работала в лаборатории в НИИ и получала очень скромную зарплату, дочь Катя была студенткой. Раньше это ничего не значило. Каждое лето семья на месяц снимала комнату в Крыму, а Эльмар иногда устраивал себе еще и дополнительные каникулы. О том, чтобы поехать в Англию, нечего было и думать. В 1993 году, несмотря на приличную пенсию, которая полагалась ему как блокаднику дополнительно к зарплате, отпуск в Крыму даже не обсуждался.

Но теперь, при наличии денег или возможности получить грант на поездку, стало можно ездить за границу. Это было

приключение, так же как для меня поездка по просторам России. Мы пригласили Галину с нами в отпуск — в любое место по ее выбору. Она захотела в Италию, и вот в один из августовских дней мы встречали ее в аэропорту Рима. Кажется, мы обе заплакали от счастья. Мы отправились в Сиену и по тосканским деревушкам. Пока я, сидя у бассейна, строчила, по выражению Галины, «как военный корреспондент», они с Алистером заходили в местные кафе. Мой друг, историк Виталий Старцев, приезжал в Лондон, чтобы работать с документами Великой масонской ложи; с группой архивистов в Бодлианскую библиотеку приезжал Андрей; автобусом из Украины нагрязнул Вилен и настоял на том, что разберет подвал нашего дома в Оксфорде. Но из друзей Эльмара ни у кого не было денег, чтобы ездить в другие страны, и лишь после 2000 года только Лёва мог позволить себе групповые туры по европейским городам.

В 1992 году институты, «владевшие» землей за городом, стали бесплатно раздавать своим сотрудникам участки по шесть соток. Соколовы получили от Дома ученых участок в двух часах пути от дома: на метро, электричке, а потом пешком. Раньше доехать на электричке до Финского залива или лесных озер можно было меньше чем за рубль, сейчас же цены кусались, но это не мешало массовому «исходу» горожан по выходным: наличие участка значило, что можно выращивать овощи, собирать лесные ягоды и грибы, а это в те годы приобретало все большее значение. Росло число автовладельцев (теперь за бензином, пусть и дорогим, не надо было стоять в очереди до трех утра), хотя содержать машину было по-прежнему непросто. Дело было не только в разбитых дорогах (к тому же зиявших колодцами открытых канализационных люков), авариях и затратах на ремонт, но и в оплате страховки (30 000 рублей — зарплата профессора за полгода), которая мало кому была по карману. Ночью автомобиль мог просто исчезнуть с улицы, и все. В восьмидесятых только у одного друга Эльмара — Олега — была машина, теперь еще одна появилась у Лёвы.

Эльмар с Тamarой решили построить на своем участке «летний домик», и я поехала с ними на один день, чтобы помочь. На электричке мы за час доехали до станции «73-й километр», прошли три километра пешком через лес до песчаной дорожки,

где начинались дачи. Некоторые дома были великолепны — большие, двухэтажные, украшенные резьбой, другие — маленькие и крепенькие, всех форм и размеров, в зависимости от возможностей владельца. Весной 1992 года строительство простой одноэтажной деревянной дачи стоило, судя по рекламе, 60 000 рублей (годовая зарплата), но у Эльмара с Тамарой таких денег не было — решили ограничиться «летним домиком». Супруги стали собирать деревянные ящики, разбирать их на деревянные планки и свозить на участок на электричке. Потом купили дешевых необработанных сосновых досок на местной лесопилке и заплатили за их доставку. Где-то достали шифера для крыши. Эльмар собирал картон и складывал его у меня дома. Мы с Галиной предложили забрать наши старые двери (вместо которых теперь стояли металлические), а я еще добавила свою старую кухонную мойку. Но доставить их на место было не так-то просто. Эльмар решил, что они с Тамарой сумеют увезти мою дверь к себе домой на трамвае, но Тамара вовремя его остановила. Лёва согласился отвезти двери на машине, но точный день назначить не мог, Галина умоляла забрать ее дверь поскорее: в коридоре она напоминала ей крышку гроба отца, в свое время стоявшую на этом месте.

То сентябрьское воскресенье выдалось теплым и солнечным. Мы с Тамарой, вооружившись ножами, счищали с досок кору, а Эльмар приколачивал их к вкопанным в землю шестам. Строили третью стену домика, где на полу могли лечь спать два-три человека. Хозяева планировали закончить стены и пол до наступления зимы. Земля была прекрасной: черная, торфянистая, практически без камней. С мая Соколовы расчистили большой участок, посадили овощи и получили хороший урожай картошки и зелени. Кто-то втихаря выкапывал их картошку — возможно, соседи, которые могли приезжать по вечерам в рабочие дни.

Копка земли уже не приводила Эльмара в такой восторг, как год назад. Он, вольнодумец, был сбит с толку исчезновением мира, где не нужно было заботиться о деньгах, еде и материальном благополучии. Дом всегда вела Тамара, а он мог делать все, что вздумается. Теперь вдруг он понял, что материальные вещи имеют значение. Республика Германа Гессе уже не являлась идеалом. «А лучше в чем-то стало?» — спросила я его. «Только

в свободе мысли, — ответил он. — Я всегда считал, что мыслю свободно, но теперь понимаю, что ошибался. Жаль, что до меня так поздно дошло. Теперь я не напишу ни единой оригинальной книги». Мне кажется, так он думал всю жизнь. Однажды он сказал мне, что всегда с удовольствием встречался с людьми с Запада, с горящими живыми глазами: они-то, при свободном доступе к любым идеям, точно расскажут что-то новое и интересное. Но его ожидания никогда не оправдывались. Идеи Эльмара были не менее свободны, чем у западных коллег, и он никогда не поддерживал отношений с традиционно мыслящими людьми. Хуже приходилось тем, кто верил, что только цензура мешает им стать известными писателями или художниками, а теперь понял, что причина в отсутствии таланта.

Вечером, по пути на станцию, Эльмар заметил маленькую илистую речку, разделся и прыгнул в холодную воду: «Чтобы освежить тело и ум», — объяснил он. Потом он сразу оделся. Как ни странно, одежда прекрасно высушила тело.

В октябре в метро то и дело встречались старики с рюкзаками на спине, с укрытыми корзинками или маленькими тележками, к которым были привязаны мешки овощей. Они ехали из леса с клюквой, рябиной или с найденными на полях капустой и морковью, оставшимися после сбора урожая. Некоторые бойкие пенсионеры действовали по четкому плану: 10 килограмм клюквы в понедельник, 15 килограмм капусты в среду. Они делали запасы на зиму. Рябина — терпкая ягода, в ней очень много витаминов, она придает водке приятный вкус и цвет.

Лёва был женат на Габриэлле — латышке, приехавшей в Ленинград учиться на физиотерапевта и оставшейся там жить. Они купили деревянный однокомнатный домик в деревушке под Псковом — день пути на машине от Петербурга, недалеко от Пушкинских гор. Летом 1993 года мы втроем выехали туда на старой незастрахованной машине, доверху набитой вещами, с двумя кошками, которые плохо переносили езду и вытворяли что хотели. Всю дорогу они непрерывно мяукали, лизали обивку и мои джинсы, пытаясь успокоить желудочные спазмы. Мы без приключений выбрались из города, не провалившись ни в один люк, и поехали по узкой дороге на Лугу, Псков и Прибалтику.

Среди холмов, перелесков и речушек вдоль поросшей травой дороги разбросаны девять домов маленькой деревушки — одной из множества на огромной площади совхозных земель. Соседние деревушки — Кашино, Жаворонки-Слепни, Жабкино — часто всего из трех-четырех домов, связаны между собой песчаными дорогами или лесными тропинками. В 1941 году нацисты стерли эти деревни с лица земли, женщины ушли жить в леса, а после войны жители вернулись и отстроились заново. В домах есть электричество, воду берут из колодцев. Раньше автобус до ближайшего городка ходил два раза в день, а в 1993-м — только один. До деревенского магазина было три километра, в доме старосты деревни на холме был телефон, по пятницам приезжала автолавка. Старушки в белых платочках, некоторые согнувшись почти пополам и опираясь на палки, за час-два до ее приезда собирались посудачить в тенечке. «Раньше, — ворчали они, — на пенсию можно было купить колбасы и еще оставалось старику на водку, а теперь на колбасу уже не хватает». Среди жителей деревни осталось только двое пожилых мужчин. Летом, как и в советские времена, на каникулы приезжали внуки и племянники. Все ходили по грибы и по ягоды, иногда приезжали артисты и устраивали концерты для детей.

На водонапорной башне возле совхозного коровника гнездились аисты. При стаде коров был молодой пастух, по целым дням не слезавший с лошади, за овцами следила овчарка. Старики по очереди присматривали за тремя коровами, принадлежавшими деревенским, а женщины работали в огородах и собирали сено. Совхозные поля льна, кукурузы и ячменя были плохо ухожены. В 1993-м здесь не было и намека на приватизацию. Мы гуляли по полям, а потом перешли вброд речку, чтобы побывать в доме Пушкина. День был жарким, и на обратном пути Лёва снял рубашку. За такое «непотребство» его тут же разбранила одна из деревенских старушек.

Обратно я возвращалась на автобусе. Он остановился в Луге, я вышла и, как и остальные пассажиры, купила мороженое. И почему мне не разрешили приехать сюда в 1963-м? Глупейший запрет, столько лет потеряно. Но в переменах были как минусы, так и плюсы. Брат Габриэиллы, сидевший при советской власти за диссидентство, теперь был на свободе. Когда Латвия стала

независимой, Габриэлле пришлось выбирать между латвийским и российским гражданством, и она, живя в Санкт-Петербурге, выбрала российское. Псковская область граничит с Латвией, дом ее родителей находится всего в часе езды от деревушки, где они жили с мужем, но граница закрыта. Это означало, что в 1993 году, чтобы поехать к умирающему отцу, ей нужно было потратить месячную зарплату на визу.

Моим ровесникам, работавшим в разных НИИ и университетах, были важны темы исследований, соответствовавшие их интересам, своевременные выплаты зарплаты, возможность получить грант на исследования или оплату публикации, ситуация в семье. У сотрудников НИИ, кроме проведения исследований, было очень мало обязанностей. Некоторые и ими почти не занимались. Гуманитарии работали дома, поскольку в институте у них не было столов и кабинетов, часто рабочий день заканчивался рано. Еще оставались домашние дела, которые в основном лежали на женских плечах.

Перестройка вдохнула новую жизнь в искусство и социальные науки, а потом по научной отрасли больно ударил финансовый кризис. Хуже всего пришлось ученым-естественникам и прикладникам: им стало не на что приобретать оборудование, молодежь стала уезжать на Запад, где был спрос на их знания, а институтам предложили переходить на хозрасчет. Некоторые НИИ закрылись, но большинство продолжали платить зарплату, пусть и с двухмесячными задержками и ниже средней. Гранты западных фондов, правительств или ЕС на исследовательские проекты или командировки стали палочками-выручалочками. Я платила молодому сотруднику 100 фунтов в месяц за помощь в моих исследованиях, и это поддерживало его семью на плаву. Преподаватели из институтов и колледжей искали дополнительную работу, сразу по две или три — преподавали в новых частных учебных заведениях, в школах, работали бизнес-консультантами. Научные сотрудники академических институтов подрабатывали журналистами, лекторами или консультантами. Обслуживающий персонал гостиниц стал, вероятно, самым образованным в мире: доктора биологических наук подносили чемоданы, физики служили швейцарами, в турбюро сидели специалисты по античной культуре. Но такие пути выживания

гораздо чаще выбирали представители молодого поколения, а не пятидесяти-шестидесятилетние.

А вот Люба и Леонид Романковы неплохо приспособивались к переменам. Леонид, став депутатом горсовета, входил в состав городской комиссии по культуре и художественному наследию, и участвовать в культурных проектах ему нравилось гораздо больше, чем в научных. Он получал достойную зарплату, имел доступ к дополнительным льготам (например, мог покупать дефицитные продукты в кафетерии) и ездил в разные страны, даже в Америку. Близнецы возобновили общение с родственником, осевшим после войны в Германии. А когда в 1987-м, получив специальное разрешение от Горбачева повидать в Уфе свою умирающую мать, в Москве проездом оказался Рудольф Нуриев, его встречала Люба. Она окликнула его на выходе из таможни, и они вдвоем пробрались через толпу фотографов. В 1989 году Нуриев последний раз танцевал в Ленинграде и недолго пробыл у Романковых, в 1991-м Люба с мужем прилетали к нему на Капри. В 1992 году Люба и Леонид навещали его в больнице в Париже, где он умирал от СПИДа.

Энергия в Любе — физике по специальности, как и ее отец, — по-прежнему была ключом: дома она появлялась не раньше 10 вечера, организовывала международные конференции или участвовала в них, делая доклады на отличном английском. К 1994 году она уже побывала в Канаде, Германии и Голландии. Но зарплаты в НИИ никак не могли угнаться за инфляцией. Сотрудники лаборатории пили чай практически без заварки. «Муж, работающий в Физтехе, не муж», — говорили женщины, и тридцатилетний сын Любы ушел из института, чтобы торговать автомобилями. Люба, уже ставшая бабушкой, поддерживала форму, бегая по эскалаторам, и попыталась освоить скейтборд, но, к несчастью, сломала руку.

Это случилось незадолго до приезда в Санкт-Петербург принца Чарльза, когда Британский Совет попросил меня пригласить несколько хорошо владевших английским языком русских на небольшой неформальный ужин в одном из новых ресторанов на окраине города. Среди предложенных мной кандидатур была и Люба, и мы вместе отправились в ресторан на трамвае. Было ли принцу Чарльзу интересно? Не знаю, но Люба, с рукой на

перевязи, сидела рядом с ним и рассказала смешное стихотворение на английском, которое она сочинила в его честь. Возможно, это произвело на принца впечатление.

У Любы было несколько подруг, еще с шестидесятых, когда они, молодые матери, перегруженные работой и заботами о детях, объединились, чтобы поддерживать друг друга. Группа называлась «Красные спицы», потому что на ежемесячные посиделки в чьей-нибудь квартире они часто приходили с вязанием. В 1990-х подруги продолжали встречаться, чтобы поболтать на общие темы, обсудить новости и поделиться полезной информацией, но, как и прежде, о политике не говорилось ни слова — здесь могли обнаружиться самые разные, порой несовместимые, взгляды. Когда я с ними познакомилась, женщины занимались самыми разными вещами — Люба так и работала физиком, еще одна — химиком, две подруги делали дизайнерские абажуры для ламп, одна работала в издательстве, одна занималась искусством. Чтобы выжить, применялись самые разные стратегии: от грантов на исследования и гонораров до сдачи комнат в аренду приезжавшим иностранцам («полупансион»), некоторых поддерживали дети.

В ноябре 1993 года Люба и Леонид праздновали свой день рождения в комнате отдыха сауны при спортзале института «Ленгидропроект». Стояла холодная и снежная погода. Мы приехали заранее с едой (хлеб, сыр, колбаса, масло, рыба, которую Люба готовила до трех ночи, кастрюли с курицей и рисом, обернутые для тепла одеялами, маленькие пирожки с грибами, хрен, клюква, петрушка) и напитками (пиво, кока-кола, клюквенный ликер, немецкое и венгерское вино, водка). Для тепла мы разожгли камин и по очереди ходили париться. Пришли гости — с тортами, фруктами, бутылками и гитарами, кто-то тоже пошел париться, кто-то — играть на бильярде, кто-то просто сидел, пил и общался. Я встретила супружескую пару, с которой не виделась уже тридцать лет. Их единственный сын, родившийся в середине шестидесятых, отсидел в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений в пьяной драке, а вскоре после выхода умер — отказала поврежденная печень. Все уселись за стол. Друзья читали стихи-поздравления близнецам, пели песни, в том числе и собственного сочинения. Муж Любы заснул и свалился

со стула прямо в камин. Леонид соорудил экран и показал нам пленку, где некоторые из присутствующих по очереди прыгали с тарзанки в какое-то озеро.

Новые друзья и знакомые

До революции Россия жила по юлианскому календарю, в котором Рождество приходилось на 7 января, а вскоре после него наступал Новый год. В 1918-м был принят григорианский календарь, и Новый год стали праздновать 1 января. Но многие до сих пор отмечают и Старый Новый год тоже. В 1993-м на две недели жизнь замерла — праздновали Новый год, Рождество и Старый Новый год. Я вернулась из Англии как раз к празднованию Старого Нового года в Интерьерном театре Николая Беляка, куда пришла по приглашению Андрея Алексеева. Меня представили одному физику, чье имя прозвучало для меня как «Рембрандт». Я удивилась и спросила, не ослышалась ли я, и он объяснил, что нет: его имя Рэм (Революция, Электрификация, Механизация), а фамилия — Брандт. Таких имен оказалось гораздо больше, чем я думала: еще одного нового знакомого звали Арлен (АРмия ЛЕНИна).

В большой комнате, где на стенах висели фотографии и скетчи и стояла искусно сделанная из треугольных досок елка, украшенная свечами и имбирными пряниками в золотой фольге, был накрыт стол на сорок человек: картошка, маринованные огурцы, квашеная капуста, большие пироги с капустой, хлеб, сок и водка. Члены труппы в театральных костюмах сновали туда-сюда с едой и напитками, друзья театра сидели за столом в качестве гостей. В полночь зажгли свечи, и каждый получил в подарок по имбирному прянику. Первый тост произнес Михаил Толстой — высокий седой мужчина, депутат российского парламента. Беляк прочел юмористическую статью о предстоящей поездке театра на Венецианский фестиваль, поэт Чернов прочел стихи.

Андрея попросили сказать тост. Он нехотя поднялся и заявил, что ничего особенного сказать не может — старые убеждения он растерял, и у него осталось только интуитивное ощущение добра и зла. Новое кредо он выработать не смог, потому что в свое время слишком сильно верил в старые принципы, ни

одна политическая партия его не привлекала, и ему оставалось только защищать права человека и, возможно, собирать архив — «строить храм». Это его и занимало в последующие несколько лет. Работы был непочатый край, а цельная натура в нем всегда сочеталась со склонностью к стратегическим действиям. Андрей всегда сидел на мели, одежду носил до тех пор, пока она в буквальном смысле не рассыпалась, но вскоре в Петербург вернется Зина, и они станут жить вместе.

Молодежь в девяностые

Как шли дела у Веры, с трудом перебивавшейся на учительскую зарплату в Тамбове? В те годы связь с ней я поддерживала через ее дочь Ольгу, в 20 лет приехавшую в Петербург, чтобы учиться на декоратора. Проследив за судьбой Ольги, мы перейдем от «детей эпохи Сталина» к их детям, родившимся при Хрущеве и Брежневле. Ольга уже получила образование, но имела только временную прописку и жила с подругой в комнате на первом этаже расселенного дома, ожидавшего капремонта. Вера отправляла ей деньги и забрасывала письмами, на которые редко получала ответ. В отчаянии она стала названивать Галине. Как-то вечером мы вдвоем отправились на поиски Ольги. «Крысы!» — вскрикнула Галина, схватив меня за руку, когда прямо на нас из темноты пахнувшего сыростью подъезда вылетела кошка. Ольга, копия матери в студенческие годы, была нарядно одета — они с подругой собирались в гости. В маленькой комнатке было довольно уютно. Ольга заверила Галину, что закончила учебу, вздохнула при упоминании о своей «невыносимой» мамочке и обещала написать. Бредя обратно через дворы, я расплакалась. Почему? От неожиданности, что снова увидела Веру — в образе ее дочери, оттого что вспомнила нашу жизнь и надежды в шестидесятых. Но и от страха за судьбу Ольги. «Как, — думала я, — она сможет найти работу, которая позволит ей купить комнату, не говоря уже о квартире, на что будет покупать модную одежду, без которой теперь молодежи невозможно обойтись?» Но оказалось, что я переживала зря. К началу 2000-х у Ольги с мужем была своя квартира на престижной Петроградской стороне, и Вера жила вместе с ними.

Девяностые для молодежи были совсем другими, это был их мир, пусть и нестабильный, быстро и непредсказуемо изменяющийся. Это было время энергичных, ловких людей с реальными идеями, самоуверенных и амбициозных. Можно было поехать в Сибирь с мешком денег, закупить металл, перевезти его через границу в Прибалтику и заработать миллион. Зная язык и обладая известной настойчивостью, можно было устроиться в совместное предприятие и зарабатывать 200 долларов в месяц — больше, чем твои родители, преподаватели университета, зарабатывали за год. Галинины студенты и преподаватели, знавшие иностранные языки, могли получить грант и поехать на стажировку в западные университеты. Если у претендента было неважно с английским, интервью по телефону за него мог пройти знакомый. Интересно, как они выкручивались, приехав в Америку?

Многие стали подрабатывать. Один из студентов Галины, Дмитрий, недавно стал священником и четыре дня в неделю служил во Владимирской церкви, совершая многочасовые богослужения. Ему платили 5000 рублей в месяц — примерно столько же, сколько и преподавателю, но «очень мало» с точки зрения молодежи, а еще у него был студенческий грант. Он позвонил Галине и пригласил нас прийти посмотреть ценные иконы и фрески. Выйдя из метро, мы с осторожностью пробрались через двор, где ремонт был заброшен из-за отсутствия денег и на цементной стене красовалось огромное граффити «Россия, встань с колен!», мимо афиш концерта поп-музыки во дворце спорта и вошли в храм.

Дмитрий, высокий, симпатичный священник в красном облачении, объяснил, что через двадцать минут ему начинать обряд венчания, и повел нас по храму. Вскоре явились участники церемонии: взволнованные жених с невестой, двое-трое постарше, вероятно родители, и несколько подружек в обтягивающих мини-юбках и на высоких каблуках. Дмитрий и еще один священник по очереди читали и пели молитвы. Почему-то я не удивилась, когда оказалось, что у Дмитрия очень приятный бас. В какой-то момент он снова подошел к нам. «Три следующих молитвы довольно длинные, — сказал он, — я пока повожу вас по храму». Мы на некоторое время подошли к очередной иконе,

потом он опять вернулся к обряду и так и ходил туда-сюда — я была в некотором замешательстве. Венчание шло своим чередом, свидетели подержали венцы над головами жениха и невесты, те обменялись кольцами и были объявлены мужем и женой. Через десять минут должно было начаться следующее венчание. Вбежал взволнованный мужчина и попросил отложить таинство на двадцать минут — жених с невестой и гостями задерживаются. Дмитрий спокойно объяснил правила: при опоздании больше чем на пятнадцать минут цена удваивается. Отец что-то зашептал ему на ухо, Дмитрий благосклонно улыбался. Уже на пороге храма я, к своему облегчению, заметила подъехавшую машину и выходящих из нее жениха с невестой — они все-таки успели.

Планы на будущее

Некоторые продолжали заниматься любимым делом и мечтать о прекрасном будущем, как художник Коля Васин, с которым я познакомилась совершенно случайно.

Осенью 1992 года я за 98 долларов купила в валютном магазине «Балтика» через дорогу от дома простой сосновый стол и четыре стула. Управляющий с помощником принесли их, но, даже сняв с петель входную дверь и дверь на кухню, не смогли втащить стол внутрь. Его унесли, а вечером молодой человек принес отдельно столешницу. Но и она в кухню не входила. На следующий день явились плотники, подтвердили, что случай безнадежный, и после работы вернулись с инструментами. Два часа они пилили, долбили и клеили, сказав при этом, что не возражают, если фирма им не заплатит. Раньше они работали инженерами-акустиками, а потом попали под сокращение и теперь делали по десять столовых гарнитуров в месяц — из российского дерева на финском оборудовании. Они зарабатывали в десять раз больше, чем в бытность инженерами, но не теряли надежды, что однажды им удастся вернуться в акустику. Один из них, Алексей, заворачивал свои инструменты в кусок ткани с вышивкой «Рок-храм Джона Леннона». Неужели я не слышала про Колю Васина, который собирает архив рока и «Битлз» и планирует построить храм Джона Леннона на Васильевском? Он меня обязательно познакомит.

«Ты и правда встречаешься с интересными людьми», — сказала мне приехавшая погостить дочь Эллика, когда через несколько месяцев я сводила ее в гости к Коле. Коля Васин, художник-керамист, в те годы лет сорока, крупный, борода-тый, веселый, со стеклянным глазом, вне всякого сомнения интересный человек. Услышав плохую (других тогда не было) запись «Битлз» в начале шестидесятых, он решил посвятить себя сбору их записей, фотографий и разных связанных с ними предметов, создать архив «Битлз» и организовывать неформальные концерты рок-музыки, чтобы создать новый мир любви, мира и гармонии. Коля жил в коммуналке на верхнем этаже старого дома. В комнате — груды фотографий, книг, записей и сувениров, стоял круглый стол, лавка и пара стульев. Где Коля спал, непонятно. Часть оставшегося пространства занимали два велосипеда. В качестве угощения Коля выставил миску с квашеной капустой и солеными огурцами, из которой все и брали их вилками, а еще водку. Коля вдохновенно рассказывал о концертах, организованных вместе с друзьями несмотря на запреты властей, и о своем проекте: построить каменный храм на воде в конце Васильевского острова, увенчав его огромными вращающимися прозрачными подсвеченными шарами — храм, где будет играть рок-музыка и будут мирно собираться люди. Сбор средств шел медленно — брать деньги за билеты на концерты не в его правилах. Но Коля не терял надежды.

Я спросила, стало ли ему легче жить с началом перестройки? Нет, ответил он. Он понял, что для него есть только два пути — либо на небеса, либо на остров в Тихом океане. Общество не одобряет его образа жизни. Почему — он понять не может. Ведь он никому не делает зла, все, чего он хочет, — слушать хорошую музыку. Почему его соседи, да и другие, против? “All we need is love”, — с широкой улыбкой сказал он Эллике и ее другу. Он знал все песни «Битлз» наизусть и постоянно вставлял фразы из них в свою речь, иногда только ими и ограничиваясь.

Потом мы отправились осматривать остальную экспозицию «музея» — в большом подвале дома, где располагались студии разных художников. Легкие снежинки поблескивали в свете фонарей на маленькой площади с памятником Пушкину посередине. Коля побежал в булочную за хлебом — мы собирались

устроить в подвале чаепитие. Там нас ждало еще больше картин, толстенные альбомы газетных вырезок и оборудование для звукозаписи. Мы выпили чаю из огромных бесформенных керамических кружек и пообещали через два дня прийти на празднование шестидесятилетия Йоко. В назначенный день подвал был полон — наивных двадцатилетних и бородатых, похожих на Джона Леннона, сорокалетних. Все сидели вокруг стола, а группа на полуразвалившемся диване пела старые песни «Битлз». Алкоголя было немного. Шла съемка для телевидения, щелкал аппаратом фотограф. Мне трудно было понять, что за люди там собрались. Элика и Стив решили, что в маленькой комнате кто-то принимал наркотики, но, по их словам, атмосфера была совершенно невинной, словно на вечеринке первокурсников.

Коля Васин так и жил в комнате в коммуналке до своей гибели в 2018 году. Храм на Васильевском остался лишь мечтой. Коммуна художников на Пушкинской площади практически распалась — квартиры проданы новым владельцам. Осталась пара художественных галерей... В следующей и последней главах мы сходим туда и познакомимся с новыми друзьями.

Часть III

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ. 1995–2018

Глава 11

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

В 2015-м я прилетела в огромный новый полупустой аэропорт на окраине города, расположенный там, где в 1941 году проходила линия обороны Ленинграда. Мы прилетели с моей невесткой Марион — она работает арт-куратором и приехала посмотреть Эрмитаж. В новом аэропорту есть стойка, где можно заказать такси, оплатить, получить чек и сразу же поехать в город — через хитросплетения новых развязок, мимо больших магазинов, завода «Пепси» и автомобильных салонов. Но нам повезло даже больше: пройдя через паспортный контроль, я по мобильному телефону позвонила подруге, которая приехала за нами на машине. «Вот это да!» — гордо подумала я, но Марион, казалось, считала это абсолютно нормальным.

Возможно потому, что я показывала Санкт-Петербург Марион, прошлое так и вставало у меня перед глазами. Мы ехали по Московскому шоссе, и на меня нахлынули воспоминания — вот большая обувная фабрика «Скороход», где я в 1960-х собирала материалы по трудовым спорам, вот конструктивистское здание почты, вот школа в виде серпа и молота, вот Обводный канал, вот рабочие окраины, вот Лиговский — самый криминальный район города в 1920-х, вот Московский вокзал, где поезда из Москвы встречают городским гимном из громкоговорителей, от чего у меня всегда подступает ком к горлу. Дальше — по Невскому (сколько здесь воспоминаний!) через Дворцовую площадь, где 7 ноября 1961 года я с друзьями из общежития участвовала в демонстрации, а в 1991-м слушала призывы к построению демократии в России. На мосту через Неву Марион не могла оторвать глаз от бело-зеленого здания Эрмитажа, к которому вернулось былое величие. За мостом нас ожидали виды Петропавловской крепости, отреставрированная мечеть, новые

элитные здания на месте студенческого общежития и зоопарк, где звери голодали в блокаду и в 1990-е.

Как воспринимала город Марион? «Иногда, — сказала она, — мне кажется, что я в Париже, Лондоне или каком-то еще большом европейском городе. Женщины выглядят так же, как и я — та же ноябрьская униформа из джинсов, черных сапог, теплой куртки с меховой оторочкой, красивой сумки и айфона. На Марсовом поле я видела хорошо одетую пожилую женщину в уггах». Но позже она писала: «Хотя многое в Петербурге кажется знакомым — каналы как в Амстердаме, широкие бульвары как в Париже, магазины как в Лондоне, но — язык, заводы и корабли на Неве практически в центре города, запах бензина (жуткая вонь!) и... странные водосточные трубы создают очень непривычную атмосферу». Я уже говорила о водосточных трубах, с грохотом извергающих на мостовую лед вперемешку с водой. Странно, почему они так бросаются в глаза приезжим. Но записи Марион еще раз подчеркивают, что у Петербурга, как и любого европейского города, есть свои уникальные особенности и в то же время он, несомненно, принадлежит к их числу.

* * *

Легче описывать события и впечатления многолетней давности (насколько верно — это другой вопрос), чем те, что еще не успели улечься в голове. В шестидесятые я смотрела на Ленинград глазами двадцатипятилетней англичанки, в девяностые шквал новых впечатлений совершенно затмил прошлое, а сегодня я воспринимаю город и его обитателей будто сквозь дымку воспоминаний, новых впечатлений и образов меняющейся жизни европейских столиц. Как же все это выразить? Может быть, начать с рассказа об изменении моей точки зрения — с девяностых до сегодняшнего дня?

«Мэри, не волнуйтесь, — говорил мне высокопоставленный уважаемый чиновник прокуратуры в сентябре 1998 года, пряча во внутренний карман пиджака пухлый пакет купюр, — я опытный оперативник». Мы сидели в людном холле гостиницы, и я очень нервничала: с облегчением расставшись с конвертом, я не знала, заметил ли кто-то, как я его передавала. Коррупция?

Взятка? Нет. Это был единственный способ оплатить билеты для российских прокуроров, со всей страны съезжавшихся в Санкт-Петербург, чтобы обсудить борьбу со злоупотреблениями служебным положением со своими американскими коллегами. Но как это касалось меня?

В 1995 году я сменила профессию — из преподавателя Оксфордского университета превратилась в главу российского представительства Фонда Форда — одного из крупнейших американских благотворительных фондов со штаб-квартирой в Нью-Йорке и офисами в разных странах. Москва, где открылся новый офис, на шесть лет стала моим домом. Программы Фонда поддерживали высшее образование, культуру, права человека и правовую реформу. Грантополучатели Фонда были разбросаны по всей стране, и я часто приезжала в Петербург, но квартиру продала молодой коллеге. Кровать, сосновые книжный шкаф и стол, сделанные на оборонном заводе, приобретенные в Будапеште ковры, настольные лампы и посуда из комиссионки Апраксина двора переехали в Москву, в пустую квартиру на Патриарших прудах, которую мы с Галиной выбрали, а Фонд Форда арендовал для меня. Алистер взял неоплачиваемый отпуск на год и приехал читать лекции в Российской экономической школе. Приезжали погостить дети со своими супругами, друзья из Петербурга и других городов, Вилен из Украины.

Все гранты Фонда перечислялись только на зарегистрированные банковские счета, в налоговую инспекцию подавалась полная отчетность. Но в августе 1998 года рубль рухнул, и банковская система перестала принимать и конвертировать долларовые платежи из-за рубежа и переводить деньги российским организациям. Почти не помню, как мы выкручивались. Мы с Алистером, не дожидаясь конца отпуска, срочно вылетели с греческого острова в Москву. Помню, что не могла гарантировать сотрудникам выплаты зарплаты, помню, как в сопровождении одного из водителей — у каждого по две сумки денег в руках — бежала по подземному переходу, чтобы успеть до обеда открыть новый счет в Сбербанке. (Почему? Остальные банки что — не работали?) Большинство проектов было приостановлено, но семинар в Санкт-Петербурге был уже полностью организован. И тогда — единственный раз за все время — деньги были

выплачены наличными, а документы оформлены задним числом. Я очень надеялась, что прокуратура сможет убедить налоговую, что здесь все честно и законно.

Итак, в конце девяностых я снова оказалась в мире прокуроров, юристов и судей. Но теперь я не изучала трудовые споры, а поддерживала проекты университетов и академических институтов, музеев и художественных галерей, некоммерческих организаций и юристов. Всем были нужны деньги — чтобы выжить или начать новые проекты. В начале двухтысячных я приезжала в Петербург в качестве грантодателя. Позже — чтобы прочитать цикл лекций, провести исследование или оценку выполнения программы, поучаствовать в заседании совета или просто повидаться со старыми и новыми друзьями. В 2015 году я договорилась о том, чтобы Марион смогла посетить Эрмитаж.

Как же менялся город для меня, наблюдавшей за ним с разных точек зрения? Середина шестидесятых — середина восьмидесятых были годами застоя. В следующие десять лет лед постепенно таял, и их можно сравнить с весенним ледоходом на Неве, сметающим прошлое, — это были беспокойные годы, принесшие бурные эмоции, богатство, беззаконие и беспрецедентную бедность. Двадцать лет — с 1995-го по сегодняшний день — я не могу описать в двух словах. Может быть, потому что с тех пор прошло еще слишком мало времени? Но, по крайней мере для моего поколения, первое десятилетие было сочетанием трудностей с возможностями для смельчаков. «Как бы ты назвал эти годы?» — спрашивала я своих пожилых друзей, когда недавно снова приехала в Петербург. Двое, независимо друг от друга, предложили: «Время больших ожиданий». Давайте их так и назовем.

В 1995–2005 годах население города больше всего было озабочено простым выживанием. За исключением горстки «новых русских», тяжело приходилось всем — от пенсионеров до детей. Другими словами, ветер, ворвавшийся в распахнутое окно, и не только западный, вихрем кружил по городу, нуждавшемуся в ремонте и новых стратегиях выживания.

Это были годы бандитского разгула. Политических оппонентов и конкурентов по бизнесу устраняли наемные убийцы. Об убийстве демократического политика Галины Старовойтовой

я уже говорила. Через дверь собственной квартиры был застрелен правозащитник Николай Гиренко. Соседа моей подруги Галины, бизнесмена, тоже застрелили, когда он открыл дверь. Семью наших друзей мошенники выселили из купленной ими квартиры.

Но в эти же десять лет политическая жизнь города оживилась, пресса стала свободной, люди стали заниматься чем-то новым — в бизнесе, образовании, политических исследованиях, искусстве. Возникали центры юридической помощи, правозащитные организации, экологические группы и благотворительные общества.

Потом, года примерно с 2005-го, когда новый президент Путин начал свой второй срок, жизнь города снова стала меняться. Зарплаты потихоньку росли: государственные доходы увеличивались с ростом цен на нефть, в город поступали инвестиции из разных источников, а молодое поколение находило новые способы зарабатывать на жизнь. Курс доллара к рублю стабилизировался. На улицах стало гораздо меньше пьяных, попрошаек и беспризорников. К 2012 году большинство людей жили лучше. Дворцы вновь покрасили, улицы заасфальтировали, повсюду стали появляться элитные гостиницы, рестораны и магазины. Музеи и картинные галереи отремонтировали, Кировскому, теперь вновь Мариинскому, театру возвели вторую сцену. Городские автобусы и троллейбусы уже не забиты до отказа, как раньше, в потоках машин множество такси. В центре полно магазинов, в том числе Chanel и Dior — они очень похожи на магазины на Бонд-стрит, правда покупателей в них мало. Но в 2016 году, когда падение цен на нефть ударило по государственному бюджету, доходы большинства перестали увеличиваться и даже сокращались.

Что бы сказал Петр I о сегодняшнем Санкт-Петербурге? Воплотилась ли наконец его мечта? В чем-то — да, причем в процессе ее воплощения город не растерял своего величия и очарования. Во время праздника выпускников школ «Алые паруса» по сверкающей глади Невы между Петропавловской крепостью и Зимним дворцом проплывает огромный величественный парусник, сопровождаемый игрой света, залпами фейерверков и запоминающейся музыкой. Город наконец-то реставрируют? Да,

но не только его облик. В последние десять лет город обновляется, уровень жизни растет, но демократический политический процесс остановлен. Кремль постепенно начинает контролировать правительство города, его собрания и решения, так же как и большинство СМИ и телеканалов, начата кампания сверху на подавление политической оппозиции. В 2012 году Дума приняла закон против иностранного финансирования независимых организаций и институтов. Мечты и надежды участников смелых реформаторских начинаний 1990-х и начала 2000-х отложены на будущее, и не ближайшее будущее. Царь Петр точно бы одобрил.

Город вступил в новую эру и во многих других отношениях. Революция в средствах связи, технических инновациях, немыслимый рост доходов небольшого количества людей, международные путешествия и торговля, перемещения больших масс людей изменили городские ландшафты по всей Европе. И Санкт-Петербург не исключение. Окно Петра теперь широко распахнуто в новый глобализованный мир. За последние пять лет поведение людей и их общение, будь то в Петербурге, Лондоне, Париже или Нью-Йорке, стали очень схожими благодаря компьютерам, мобильным телефонам и интернету, сильно повлиявшим на образ жизни. Никто больше не стоит в очередях за билетами на спектакль, поезд или самолет — мы покупаем их через интернет. 30 октября 2016-го мы с Галиной и ее коллегой оказались у Троицкого собора вместо Троицкого моста — нестрашно, через пять минут к нам подъехало вызванное по мобильному телефону такси.

Что мы там делали? 30 октября — День памяти жертв политических репрессий. В Петербурге его отмечают митингом у Соловецкого камня — огромного валуна, привезенного в девяностых годах с Соловков сотрудниками общества «Мемориал». У «Мемориала» в Петербурге две организации — одна занимается помощью родным репрессированных в советский период, а другая — сбором исторического архива и сохранением памятников, связанных с репрессиями в СССР, и тайных захоронений в местах казней. Одно из мест ссылки и смерти в двадцатые-тридцатые годы прошлого века — это Соловецкие острова в Белом море, к северу от Архангельска. Соловецкий камень установлен у набережной к северу от Троицкого моста. Сам

«Мемориал» расположился в помещении бывшей квартиры на первом этаже недалеко от Невского. Здесь находятся библиотека и архив, проводятся семинары и выставки. Недавно, после выхода закона «об иностранных агентах», «Мемориалу» пришлось зарегистрировать новую отдельную организацию.

Когда митинг у Соловецкого камня заканчивается, все отправляются в Левашово — на поросший редкими соснами бывший расстрельный полигон напротив военной части. Здесь за забором захоронены десятки тысяч людей, расстрелянных, вероятно, в городе, в подвалах НКВД в годы «Большого террора» конца тридцатых. В начале девяностых объект был рассекречен. Где похоронен конкретный человек, сказать невозможно, но на Левашовском мемориальном кладбище установлено множество памятных знаков — католикам, украинцам, полякам, литовцам, эстонцам и русским. Люди закрепляют маленькие памятные индивидуальные таблички на деревьях или на земле. Один из аспирантов Галины собрал деньги на мемориальный знак Владимиру Бенешевичу — историку-византинисту, его близнецам-сыновьям и брату, расстрелянным в январе 1938 года. 30 октября мы собирались возложить венки у их памятника. Мы прослушали речи у Соловецкого камня, а потом запустили в небо белые воздушные шары — некоторые с написанными именами, — летевшие над Невой или цеплявшиеся за верхушки высоких деревьев.

На предоставленных городскими властями автобусах мы отправились в Левашово. Место здесь безлюдное. Напротив входа на полигон установлена зловещая статуя «Молох тоталитаризма». Во дворе — звонница с громадным колоколом. Люди выстраиваются в цепочку и вместе тянут за веревку — раздается резкий гнетущий звон. Мы нашли табличку и возложили цветы. У памятных знаков под деревьями горели маленькие свечки. Возле эстонского памятника шел молебен. Неотмеченные захоронения в лесу всегда создают ощущение холода и скорби. Еще одно мемориальное кладбище, Сандормох, находится в Карелии, у границы с Финляндией — там братские могилы возвышаются длинными холмами. На его открытии в 1997 году было очень холодно, люди бродили между деревьями в поисках могил близких. Когда я, совершенно замерзшая, несмотря на выпитую водку,

вернулась в автобус, пожилая женщина участливо спросила меня: «Нашли своих? Мы, кажется, нашли».

Образование, инновации и чего это стоило

В заключительной главе мы еще вернемся к удивительным переменам в городском пейзаже и жизни его обитателей и к нашим старым друзьям. А сейчас поговорим о том, как сложились судьбы нескольких новых организаций, занимающихся высшим образованием, культурой и правом, организованных представителями старшего поколения. Для сравнения несколько раз обратимся к более молодому поколению. Теперь многие из них стали моими коллегами и друзьями, но их истории пусть расскажут они сами. Свои воспоминания я посвятила тем, кто был молод в начале шестидесятых.

Лучше всего я знаю университетский мир. Зарплаты преподавателей, так же как и сотрудников НИИ, остаются мизерными. Моим ровесникам, в том числе получающим пенсию блокадников, приходится продолжать работать, чтобы выжить. Дети, на которых можно опереться, есть не у всех. Некоторое время Галина, чтобы подзаработать, преподавала русский корейским студентам. К началу двухтысячных значимым средством получения дохода для всех преподавателей университетов и сотрудников академических институтов стали гранты на исследования и приглашения прочесть курс лекций. Зарплаты преподавателей в СПбГУ, занимавших еще и административные должности, значительно выросли только в 2010 году. Молодым преподавателям и научным сотрудникам до сих пор невозможно прожить на свою зарплату: они могут взять дополнительную учебную нагрузку в одном или двух других институтах, пойти подрабатывать на радио или попытаться получить иностранный или российский грант, чтобы обеспечить семью. Неудивительно, что на исследовательскую работу времени практически не остается. И как же — хочется спросить у Министерства образования — прикажете им конкурировать со своими ровесниками в Европе или США?

Неудивительно, что в середине девяностых, в период приватизации, инноваций, «больших ожиданий», появились новые колледжи и институты — обычно при финансовой поддержке иностранных спонсоров и богатых «новых русских». Ближе всего из них я знакома с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. В 1994 году Борис Фирсов ушел из Института социологии и при содействии коллег из разных академических институтов организовал новое независимое высшее учебное заведение гуманитарных и социальных наук. С одобрения мэра Собчака и при поддержке правительства города, ему был предоставлен в аренду Малый Мраморный дворец — великолепный особняк неподалеку от Невы и Фонтанки. После гибели Александра II в нем жила морганатическая жена императора с четырьмя детьми, в советские годы здесь располагались организации по гигиене и охране труда, и здание пришло в упадок. Однако элегантная лестница и один прекрасный зал с расписным потолком сохранились. Здесь и расположился новый Европейский университет.

Борис Фирсов — исключительно честный человек. Когда проводили компьютерную сеть, он отказался дать взятку, и потом несколько лет все страдали из-за плохой работы сети. Он настоял, чтобы в первую очередь были сделаны отличные женские туалеты. (Женские туалеты в ЕУСПб были очень хорошими уже в девяностые, а вот на историческом факультете Санкт-Петербургского государственного университета они находились в таком состоянии, что декан не разрешил делать перерывы до обеда во время международной конференции, чтобы иностранные участницы могли воспользоваться удобствами в ресторане неподалеку.) Фирсов — человек, отлично понимающий, насколько важно иметь влиятельных покровителей. Чтобы дозвониться до тогдашнего министра финансов Алексея Кудрина и уговорить его войти в состав Попечительского совета Европейского университета, ему пришлось сделать не меньше двадцати пяти звонков. Не припомню, чтобы Кудрин приезжал на заседания Совета в те годы, когда я, после ухода из Фонда Форда, была в нем заместителем председателя, но важны были связи. Фирсов уговорил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского возглавить Попечительский совет.

Первые сотрудники пяти факультетов — истории, этнологии (теперь — антропологии), политических наук и социологии, экономики и появившегося позже факультета истории искусств — в основном были молодыми научными сотрудниками, до этого работавшими в институтах Академии наук. Некоторые из них получили дипломы в Америке или Великобритании. Студентов было немного, в основном из других городов — их привлекала репутация университета и возможность учиться в Петербурге. Но к началу 2000-х появилась программа Master of Arts на английском языке для иностранных аспирантов. В 2003 году я преподавала в ЕУСПб студентам из США, Германии, Великобритании и России. Как студенты, так и преподаватели ЕУСПб принимали участие в конференциях и семинарах, где рабочим языком мог быть как русский, так и английский. Давно прошли те времена, когда в 1961 году переводчики не смогли понять лекцию А. Дж. Айера в Ленинградском государственном университете и огромная аудитория разошлась полностью разочарованная.

Плата за обучение иностранных студентов покрывала очень небольшую часть всё увеличивавшихся расходов университета. Сначала зарплаты преподавателей в ЕУСПб были достаточно высокими по сравнению с государственными институтами, но позже, несмотря на усилия Отдела развития, привлекавшего деньги иностранных и российских спонсоров, они начали уменьшаться. В 2008 году на «иностранное финансирование» обратили внимание недоброжелательно настроенные депутаты Думы и президент. На примере первых нападков на университет и его ответных действий можно отследить, как менялась политическая обстановка. Исследовательский проект, посвященный сбору и анализу данных по выборам, финансировавшийся Европейской Комиссией, был признан доказательством вмешательства в политическую жизнь страны с использованием иностранных средств. Появились публикации в прессе, последовала инспекционная проверка пожарной охраны, в результате которой были выявлены нарушения мер пожарной безопасности и вынесено постановление о закрытии здания. Решение было поддержано районным судом. Двери опечатали.

Следующие два месяца были очень тревожными. В России и за рубежом прошли акции в поддержку университета.

Собрали деньги для проведения работ по обеспечению пожарной безопасности. Слали письма во все инстанции — вплоть до администрации президента. Начался новый семестр: занятия проводились в дружественных институтах неподалеку и, для привлечения внимания, на улице. Студенты организовали хорошо продуманную демонстрацию вокруг памятника Ломоносову (отцу российской науки) перед зданием Санкт-Петербургского государственного университета. Еще они вызвали сотрудников пожарной службы на дружеский футбольный матч (не помню, кто выиграл) — опять-таки с целью привлечения внимания. И вот ветер поменялся. На многолюдном митинге представитель губернатора выступил с неуверенной примирительной речью, после чего районный суд внезапно решил, что принятых мер достаточно, чтобы признать здание соответствующим нормам пожарной безопасности, и снял запрет. Так чье же это было решение? Уж точно не депутатов Думы, не районного суда, а может даже и не губернатора?

В 2016 году проблемы у университета, во главе которого теперь стоял новый энергичный молодой ректор, начались снова. Хотя университет уже не получал иностранного финансирования, консервативные депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга направили в Росособнадзор, отвечающий за инспектирование десятков новых появившихся в стране частных колледжей (многие из которых, по-моему, давно надо закрыть), просьбу «проинспектировать» ЕУСПб. Время, которое потребуется университету для ответа на запросы различных организаций, и необходимое количество документов не укладываются в голове — настоящее «нападение бумажного тигра» по выражению одного из журналистов. Неужели и в советские времена была такая же бюрократия? Наверное, нет: система субординации и контроля, устанавливаемая сверху, была всем понятна и не подвергалась сомнению. Чиновники запутывают систему, умело находя пробелы или противоречия в законодательстве и предлагая решения, в результате которых лично они получают выгоду, а все остальные — горы бумажной работы. Что это — возврат к гоголевскому «Ревизору»? В случае с ЕУСПб, после проверки его «закрыли» по решению суда. К этому моменту в процесс оказался вовлечен президент Путин, попросивший заместителя

премьер-министра провести встречу, чтобы прояснить ситуацию, апелляция в Арбитражный суд позволила приостановить закрытие на время проведения переговоров, выступал Пиотровский... а суд снова отложил вынесение решения. В течение года университет был лишен лицензии на осуществление образовательной деятельности и выселен из Малого Мраморного дворца. Пока шли судебные заседания, ЕУСПб приобрел и отремонтировал часть здания на соседней Шпалерной улице. В августе 2018 года лицензия была наконец получена, и университет возобновил работу в новом помещении. Теперь студенты и аспиранты могут вернуться к занятиям, объявлен набор на новый учебный год.

В новой России границы между государственным, частным и неправительственным размыты. Помните обветшавший Дворец Бобринских, где располагались новые помещения центра Пашкова? В девяностых центр прекратил свое существование, а дворец был передан Смольному институту свободных искусств и наук — проекту американского Бард-колледжа, первоначально финансировавшемуся американскими фондами. Но в 2011-м институт включили в состав СПбГУ в качестве отдельного факультета, и дворец с окружавшим его садом был постепенно восстановлен до своего первоначального элегантного вида. Деканом факультета (на неполную ставку) является бывший министр финансов Алексей Кудрин, в Совет попечителей входят как сотрудники университета, так и деятели культуры города и представители Бард-колледжа, но предлагает ли он действительно новый вид образования?

В конце 1990-х помещения на первом этаже старого, но хорошо сохранившегося здания недалеко от Московского вокзала купили три негосударственные некоммерческие организации. Приобретение и ремонт оплатили американские и немецкие фонды. Сегодня помещение на верхнем этаже здания арендует новая организация ЛГБТ. Самую большую из организаций — Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ), похожую на политические аналитические или научно-исследовательские центры Лондона, Вашингтона и Берлина, — создал в начале девяностых социолог Виктор Воронков со своими коллегами, до этого работавшими в академических институтах.

Неформально центр называют «Институтом Воронкова». Сегодня в его штате в основном молодые социологи (кто-то занят в институте полностью, кто-то частично), ведущие исследовательские проекты по ряду социальных проблем — использованию городского пространства, трудовым спорам, преступлениям на почве ненависти, миграции... Центр публикует статьи и отчеты, выпускает, когда есть деньги, интересный журнал, организует конференции и семинары. Дольше всех центр поддерживают немецкие фонды и американский Фонд МакАртуров, но некоторые проекты финансируются российскими донорами.

В июле 2012 года Государственная Дума приняла закон, обязывающий некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся «политической деятельностью» (что это означает, не уточняется), регистрироваться в качестве «иностранных агентов» — крайне унижительное название. После волны обсуждений и протестов и включения в список десятков организаций, в июне 2016 года в закон внесли поправки, исключающие из него группы, работающие в области культуры, спорта, науки и благотворительности... Однако к «политической деятельности» продолжает относиться любая деятельность, проводимая в целях воздействия на результаты выборов или референдума, направленная на изменение или влияние на принятие законов и государственной политики, на формирование общественного мнения, в том числе путем проведения опросов и социологических исследований. Поправки только усложнили жизнь НКО и организаций, работающих в политической сфере. После того как Министерство юстиции включает организацию в список, она обязана на всех публикуемых ей материалах указывать свой статус «иностранного агента», в противном случае на нее налагается штраф. В 2015 году Центр Воронкова попал в этот список и был оштрафован за отказ использовать новую «кличку». Центр подал в суд и добился отмены штрафа, но... на основании того, что «истек срок его наложения».

Как в таких условиях может действовать организация? В одном коридоре с Центром Воронкова находится еще одна НКО — «Гражданский контроль» (обе организации совместно

используют зал для семинаров). Основал ее и возглавлял Борис Пустынцев. Он родился в 1935 году во Владивостоке, где по радио слушал джаз и на всю жизнь влюбился в него. В 1956 году его, ленинградского студента, приговорили к пяти годам заключения за участие в протестных мероприятиях в поддержку восстания в Венгрии. Но, выйдя из тюрьмы, он смог закончить образование, получить диплом лингвиста и пойти работать составителем субтитров к фильмам на английском языке, которым прекрасно владел. Я познакомилась с Борисом в середине девяностых, когда «Гражданский контроль» начал работать над обеспечением гражданского и парламентского контроля над государственными правоохранительными органами. Это означало, что нужно было устанавливать рабочие отношения с руководством милиции города и Академией МВД. В небольшой совет «Гражданского контроля» входили известный адвокат Юрий Шмидт и члены Горсовета. Хотя организация занимается практически тем же, чем и аналогичные западные организации, ее доход — как и подавляющего большинства российских НКО — формируют взносы основателей, а не членов. К несчастью, в 2014 году Борис Пустынцев умер от рака. В других работах я писала о деятельности «Гражданского контроля», но не могу еще раз не сказать несколько прощальных слов о Пустынцеве. Несомненно, к нему располагали его изысканные манеры и великолепный английский. Седой, всегда прекрасно одетый, с неизменной сигаретой, он чувствовал себя непринужденно и на заседании ЕСПЧ в Страсбурге, и на мероприятии в Москве, и в Академии милиции, и в суде. Но мои самые счастливые воспоминания о Борисе связаны с нашим посещением джаз-клуба в Сохо. Пустынцев сам выбрал, куда мы пойдём, но мест в клубе уже не было. Я начала умолять: «Он проделал долгий путь из России, нельзя ли...» — и нам отдали зарезервированный столик в первых рядах. Я никогда, ни до, ни после, не была в джаз-клубе, а вот Борис чувствовал себя в своей стихии.

Десять-двенадцать лет назад на юристов был большой спрос, им открывалось широкое поле деятельности. Новые юридические факультеты и новоиспеченные юристы не только обеспечивали потребности возникающего рынка. Судьи удовлетворяли ходатайства, адвокаты применяли принцип

состязательности сторон, выступали за внесения изменений в законодательство, иногда выигрывали дела. Небольшая группа юристов старшего поколения, таких как Юрий Шмидт, вела резонансные дела в Санкт-Петербурге. Группа молодых юристов организовала сеть юридических клиник, предоставлявших юридическую помощь гражданам, недостаточно подготовленным, чтобы отстаивать свои дела в суде. Начинание подхватили студенты по всей стране. На юридическом факультете университета, в семидесятых переехавшем из Смольного в более просторное и лучше приспособленное здание на Васильевском (здесь учились Путин и Медведев), тоже создали юридическую клинику. Но пусть они сами, вместе с другими молодыми активистами, организовывавшими кризисные центры и правозащитные организации, рассказывают историю своего поколения. Я сделаю лишь одно исключение, поскольку оно связано с шестидесятыми годами.

Несколько лет назад я оказалась в одном из дворов-колодцев Петроградской стороны. Доходные дома со сплошным фасадом застраивались вглубь, во двор, чтобы увеличить площадь сдаваемых квартир, — так и получились «колодцы». Можно было погружаться в них все глубже и глубже, безнадежно пытаясь найти нужный подъезд или квартиру. В конце концов мне удалось найти переполненный людьми офис некоммерческой организации, защищавшей права рабочих. Ее директор, молодая женщина лет тридцати с небольшим, начала вести общественную деятельность, еще работая на заводе, потом закончила кафедру трудового права в университете и создала НКО, защищавшую рабочих в спорах с администрацией. Я сразу же вспомнила о заседаниях кафедры в 1961–1963 годах, о посещениях фабрик с Люсей и о своем присутствии на судебных заседаниях. Интересно, как это все выглядит теперь? Но, как и следовало ожидать, мои робкие слова о том, что в свое время я изучала трудовые споры на той же кафедре, не вызвали ни малейшего интереса. Молодые юристы были слишком заняты насущными проблемами. Мы вместе посмотрели сайт организации, и они рассказали мне, как передают дела в суд или организуют протесты.

В общем и целом мы видим смешение инноваций и консерватизма, шагов вперед и отступлений. Судя по людям и ресурсам

Санкт-Петербурга, он мог бы стать одним из ведущих европейских интеллектуальных центров, но пока этого не случилось.

Искусство — старое и новое

Бело-зеленое здание Эрмитажа — зимней резиденции царской семьи — выходит одним фасадом на Дворцовую площадь, а другим — на Неву. Здесь в 1764 году Екатерина II разместила свою коллекцию — собрание картин, постоянно пополнявшееся в последующие 150 лет. После революции 1917 года дворец со всем содержимым, в том числе с несравненной коллекцией предметов искусства и роскоши — с античных времен до начала XX века, перешел в собственность государства и открылся для широкой аудитории. Во время блокады большую часть коллекции вывезли из города, после войны нанесенный дворцу ущерб был устранин, и Эрмитаж вновь распахнул свои двери. В залах в каждый момент времени выставлена лишь часть коллекции, но картины Леонардо, Рембрандта и импрессионистов в запасники не убирают. Во дворце можно увидеть не только картины и бесценные коллекции, но и парадные залы, комнаты царской семьи и лестницу, увековеченную в фильме «Октябрь» Эйзенштейна.

В середине девяностых Эрмитажу приходилось нелегко. Государственный бюджет — основной источник его доходов — был подорван экономическими трудностями и инфляцией. Средств еле хватало на выплату зарплаты и сохранение коллекции, о новых путях взаимодействия с публикой или внешним миром не могло быть и речи. Зарубежные художники и спонсоры были рады оказать поддержку. В 1997 году недавно образованный Канадский фонд Государственного Эрмитажа / Канадские друзья Эрмитажа обратился в Фонд Форда. Картины в залах, чьи окна выходили на Неву, нуждались в защите от вечерних солнечных лучей, но необходимых средств у музея не было. Не может ли Фонд Форда помочь профинансировать установку защитных пленочных покрытий на окна, чтобы защитить картины и обеспечить большую безопасность помещений? Мне приятно сообщить, что финансирование было выделено, и во время приема по окончании работ два сотрудника музея продемонстрировали

всем на модели, как стекло при ударе кувалдой трескается, но не бьется. Теперь, когда я оказываюсь в этих залах, то дружески машу висящим там портретам.

В 2002 году Александр Сокуров снял фильм «Русский ковчег» — фильм снят «одним кадром», без остановки камеры, и устраивает для зрителя необычное путешествие по Зимнему дворцу, его прошлому и настоящему. Внимательно приглядевшись, можно заметить директора — Михаила Пиотровского, разговаривающего с кем-то из посетителей на одной из галерей. На посту директора Эрмитажа Михаил Пиотровский — востоковед, хорошо говорящий по-английски, — заменил своего отца. Как вы помните, он также является Председателем Совета попечителей ЕУСПб. Скромный и немного застенчивый человек, у которого не было опыта общения с фондами и, я думаю, с российскими олигархами, оказался способным учеником. Когда финансовое положение в стране улучшилось, он сумел убедить правительство России, что Эрмитаж — одна из жемчужин российской короны. Сегодня музею передана часть здания Генерального штаба, расположенного напротив Зимнего на Дворцовой площади. Здесь проходят выставки из собрания Эрмитажа и других музеев мира. Создан собственный фонд — Фонд Эрмитажа, с отделениями в Лондоне, Амстердаме, Флоренции, Нью-Йорке и Оттаве. Эрмитаж по праву входит в число ведущих художественных музеев Европы.

Пиотровский родился незадолго до конца войны и, конечно, был слишком мал, чтобы ее помнить, но я воспринимаю его как человека практически моего поколения.

Организация совершенно иного рода расположилась на противоположном от Эрмитажа берегу Невы, в Петропавловской крепости — это фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ», некоммерческая негосударственная организация, созданная в 1999 году для продвижения явлений современной культуры и искусства. Одним из его первых проектов стала необычная общегородская выставка, открывшаяся в полночь в одну из белых июньских ночей. В самых неожиданных местах появились артефакты советских времен: вязаные женские шапочки и береты висели на ветвях в оранжереях Ботанического сада,

в других местах можно было вдруг натолкнуться на советское нижнее белье, даже на подводной лодке выставлялись разные артефакты. Фонд «ПРО АРТЕ», которому сейчас оказывают поддержку Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Фонд Прохорова, — одна из новых организаций, которым удалось добиться успеха.

На этом месте, отведенное искусству в моей книге, заканчивается, но воскресить картины из жизни писателей и художников города можно, посетив музеи-квартиры. Квартира Пушкина сохраняется с момента его роковой дуэли в 1837 году и до наших дней остается местом паломничества. Квартира достаточно роскошная, находится на Мойке, рядом с Дворцовой площадью. Чтобы увидеть, как жила советская элита, можно посетить большую, хорошо обставленную квартиру на Петроградской, где жил Сергей Киров — первый секретарь Ленинградского обкома партии, убитый в 1934 году. Судя по фотографиям на сайте, она стала даже просторнее, чем была в начале восьмидесятых, когда я приходила туда со студентами из Эссекса. Уже тогда были отремонтированы и открыты для посетителей квартира Достоевского — через улицу от Кузнечного рынка на Владимирской и дом в Адмиралтейском районе, где до самой своей смерти в 1921 году жил один из известных русских поэтов Александр Блок. Хотя после перепланировки исчезли кухня и ванная, можно представить себе, что писатель вот-вот войдет в комнату и сядет за рабочий стол.

Писатели и поэты, попавшие в опалу в сталинский период, вынуждены были ждать дольше. Мастер коротких сатирических рассказов Михаил Зощенко, произведения которого в 1948-м раскритиковали, как и стихи Анны Ахматовой, жил недалеко от Зимнего дворца. Их произведения начали публиковать вновь только при Хрущеве. Музей Ахматовой на Литейном открылся в 1989 году; музей-квартира Зощенко — в 1992-м. Сейчас музеем стала и квартира, где жил сын Ахматовой, этнограф Лев Гумилев — она находится недалеко от музея-квартиры Достоевского. Придя сюда, можно увидеть, как жили представители ленинградской интеллигенции, которым повезло не ютиться в коммунальках, когда город вновь стал Санкт-Петербургом. Неподалеку

отсюда жил и Коля Васин — в своей комнате, полной сувениров «Битлз», а Рыбаков, депутат-демократ из 1990-х, открыл рядом галерею современного искусства.

Сейчас я пишу и понимаю, что это уже не воспоминания, а знакомство с сегодняшним Петербургом. Одобрил бы такую смену ракурса Андрей Алексеев? К сожалению, спросить у него уже невозможно. Пора прощаться с городом и его, теперь уже пожилыми, жителями, за жизнью которых мы следим с 1960-х годов. Разрешите мне взять вас за руку и провести (или прокатить на троллейбусе) по городу, чтобы полюбоваться его видами и встретиться со старыми друзьями. Но сначала давайте простимся с теми, кого с нами уже нет.

Глава 12

ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

Эльмар умер от инсульта в апреле 2003 года. Я была в Англии, когда мне позвонила Тамара с известием, что он в больнице, говорить не может и вряд ли поправится, но приехать я не смогла. Институт культуры организовал церемонию прощания в крематории и поминки в институте. Русский обычай оставлять гроб открытым до окончания прощания делает похороны еще печальнее. Мне лишь однажды довелось присутствовать в крематории — аккуратно положив у гроба цветы (их должно быть четное число), я все сильнее замерзала, слушая прощальные речи, а потом крышку закрыли, и гроб уехал куда-то вниз.

Тамара с дочерью Катей развеяли прах Эльмара в Ботаническом саду. Тамара по-прежнему живет в той же квартире на последнем этаже, но артрит мешает ей подниматься по лестницам, и ухаживать за дачным участком ей уже не по силам. Недавно, к сожалению, дачу пришлось продать. Из школьных друзей Эльмара в живых остались только трое — Лёва, Дима и Володя Фролов, и иногда мы встречались, вспоминали прошлое и друзей. Недавно у Володи случился обширный инсульт, но он все равно постоянно твердил о возвращении на работу. Володя умер в сентябре 2018 года. Лёва с Габриэлкой в городе бывают редко. Прощайте, друзья детства с Петроградской!

Историк Виталий Старцев умер в 2000 году. Другого старого друга, Владимира Ядова, не стало совсем недавно — в 2015-м. Я уже упоминала о смерти Бориса Пустынцева из «Гражданского контроля», а в 2013-м скончался Юрий Шмидт — юрист-правозащитник. В сентябре 2017-го внезапно не стало Андрея Алексева. В начале сентября я была у них с Зиной в гостях. Они, вместе с сестрой Зины, жили в крепкой десятиэтажке у маленького парка на берегу реки. Квартиру в свое время получил от завода

отец сестер, работавший главным инженером. На маленьком балкончике Зина выращивает зелень и помидоры, из окон, поверх фабричных крыш, открывается красивый вид на Лавру, вдалеке виднеются золотые шпили. В свое время Андрей бросил курить, когда врач сказал ему, что боль и трудности при ходьбе вызваны плохой циркуляцией крови из-за курения. Он активно пользовался интернетом — публиковал свои комментарии и мысли других на злобу дня, агитировал за проведение различных акций. Когда была возможность, принимал участие в мероприятиях «Мемориала», где и по сей день находится его архив, собранный в период работы в Социологическом институте.

К счастью, остальные их ровесники здравствуют и поныне. И все мои подруги живы. Давайте отправимся на прогулку по сегодняшнему городу, чтобы повидаться с ними, да и не только с ними.

Московский вокзал и Невский проспект

Начнем с Московского вокзала в центре города, откуда Петербург начинается для множества людей. На южных окраинах города поезд из Москвы снижает скорость, за окнами мелькают огромные старые, иногда дореволюционные, здания заводов, потом начинаются каналы и реки. Из громкоговорителя слышится гимн города... мы приехали! Толпа пассажиров спешит к выходу через арки — к такси, автобусам и метро. Мы вышли на площадь, где еще в 1930-х стояла церковь. Сегодня это транспортное кольцо, сплетение улиц, разбегающихся к северу, югу, западу и востоку. Напротив вокзала — гостиница, все еще носящая название «Октябрьская», налево — восьмиполосный Невский проспект зовет нас на Дворцовую площадь, к Зимнему дворцу и Эрмитажу.

Невский — широкий и величественный, а ведущий на восток Старо-Невский намного уже и менее интересен, но в конце него на Неве стоит основанная Петром I Александро-Невская лавра. Именно здесь во время блокады находились солдатские казармы. В Лавре — несколько храмов, где службы велись и в советское время, с перерывом на 1933–1957 годы. Здесь же находится семинария, где проводились конференции по истории

Византии, в которых участвовала Галина. Но больше всего привлекает туристов кладбище, на котором, среди других известных могил, похоронен Достоевский. Напротив через улицу — некрасивое здание гостиницы «Москва», где в начале восьмидесятых жили приезжавшие в Ленинград британские и американские ученые.

На Невском есть чем полюбоваться: дома-дворцы, в советское время ставшие райсоветами, судами, домами писателей и художников; Аничков дворец — один из императорских, где размещался Дом пионеров; знаменитые кони, рвущиеся с Аничкова моста. А дальше — памятник Екатерине II перед Александринским театром, серо-белое здание Публичной библиотеки, большая торговая аркада Гостиного двора, напротив которой расположен Театр Комедии им. Акимова, шикарный Елисейевский магазин и еще много-много всего интересного по мере приближения к Дворцовой площади. По берегам пересекающих Невский проспект рек и каналов можно увидеть множество замечательных зданий всевозможных архитектурных стилей XVIII — начала XX веков, каждое со своей историей.

Литейный, Нева, Шпалерная и обратно к Летнему саду

Литейный — длинный, прямой, но некрасивый проспект, который идет на север от Невского до моста через Неву на Выборгскую сторону. Там, на Выборгской, находится Финляндский вокзал, куда в 1917 году прибыл Ленин и где сейчас стоит ему памятник. Здесь же, на Арсенальной набережной, расположены два корпуса из красного кирпича — следственный изолятор «Кресты», где уже более ста лет помещается тюрьма. С воздуха отлично видно, что оба корпуса имеют крестообразную форму — отсюда и название. Когда-то в одном из корпусов стоял памятник Джону Говарду — английскому тюремному реформатору XVIII века. Интересно, что бы он сказал о сегодняшних российских тюрьмах? За последние двадцать лет я побывала в нескольких из них, в разных регионах страны, но в Петербурге была только в СИЗО для малолетних правонарушителей, ожидающих суда.

В шестидесятые на Литейном были лучшие в городе букинистические магазины. Здесь жила Анна Ахматова. Проспект окружают красивые улицы, застроенные домами разных стилей, в основном XIX века, во многих из них теперь расположены офисы и различные организации. Но на сам Литейный бросает тень стоящий у Невы «Большой дом», как его обычно называют, — огромное конструктивистское (но, что совершенно уместно, непривлекательное) здание 1932 года постройки, где располагался сначала НКВД, затем — КГБ, а сейчас — ФСБ Санкт-Петербурга. Именно здесь людей держали в камерах, допрашивали и многих (скольких?) расстреливали во время чисток тридцатых годов, а потом и в сороковых. Именно здесь Николай Беляк, руководитель Интерьерного театра, хотел поставить «Гамлета». Не станем тут задерживаться и пройдем на Шпалерную улицу.

Тут стоял элегантный Дом писателей — центр бурной активности в девяностых, но тогда же и сгоревший. Особняк отремонтировали, но теперь здесь гостиница и бизнес-центр. На углу Шпалерной и Литейного — большой старый дом красного кирпича, на первом этаже которого находится квартира, где собравшиеся в 1993-м демократы не смогли договориться и выдвинуть единого кандидата, в результате чего депутатом стал популярный телеведущий Невзоров. Встреча проходила в формате Ф-семинара: серии обсуждений, организованных в своей квартире режиссером документальных фильмов Феликсом Якубсоном.

В начале девяностых Феликса часто можно было встретить с камерой на политических митингах иногда снимающим со сцены, иногда на улицах. Феликс, красивый мужчина с черными глазами и бородой, по натуре своей — миротворец, способен разговорить практически любого. Мы были едва знакомы, когда, вскоре после моего переезда в Москву, он объявился в поисках работы. Когда у Феликса было свободное время, он помогал мне оформлять офис, мы вместе ходили покупать картины и подружались. В Москве он познакомился с талантливым дизайнером художественных каталогов Ириной Таракановой, и с тех пор они живут между Петербургом и Москвой.

В девяностых, когда шли Ф-семинары, в углу комнаты возле окна через пол прорастало дерево. (Может быть, его ветки через

стену выходили на улицу?) Когда в 1998-м старые и новые друзья собрались, чтобы отпраздновать мое 60-летие, дерево было на месте. Но когда мы праздновали 75-летие Феликса в 2016-м, его давно уже не было — Ирина перепланировала квартиру. Теперь в подвале появился новый «офис» — там расположилось издательство Ирины и холодная темная комната для просмотра фильмов. Здесь Феликс показывал нам свой новый документальный фильм — в медленно едущем поезде Москва — Петербург Феликс заговаривает с пассажирами об их жизни. Как всегда, ему удается очаровать и разговорить их. Потом мы поднялись наверх, сели за накрытый стол — пироги, салаты, множество всякой снеди и напитков — и слушали тосты и поэму в честь Феликса.

Феликс был в кипе: наверное, шаббат уже начался. Живя в Москве, он начал ходить в синагогу. Теперь он соблюдает и некоторые ритуалы. Его сын Максим, тоже режиссер — практикующий православный христианин. У Максима большая семья: трое детей от первого брака жены и пятилетний шалун Коля с огромными карими глазами. Однажды летом, когда я пришла в гости, Феликс сидел с внуком. Коля смотрел телевизор, но потом пришел и сел с нами за стол. Мы обсуждали Брекзит. Коля заскучал. Феликс дал ему бумагу и карандаш и предложил придумать слово, записать, а потом мы попробуем его угадать. Коля, высунув язык и заслоня написанное рукой, долго писал, а потом много раз свернул лист в малюсенький квадратик. Мы должны были угадывать по букве. Коля аккуратно разворачивал бумажку так, чтобы мы не видели, что на ней написано, проверял, есть ли названная буква, отвечал нам и сворачивал ее снова. Прошло уже много времени, мы спросили: а там точно три а? И, наконец, сдались. «Атлантида!» — гордо развернул свою бумажку Коля. «Мальчик далеко пойдет!» — подумала я.

Неподалеку — улица Чайковского, где в блокаду жили близнецы Романковы. Люба и до сих пор живет здесь со старшей сестрой, а Леонид иногда ночует. В один из осенних вечеров в 2016 году мы с ним возвращались сюда с какого-то мероприятия. До 2002 года Леонид был депутатом Горсовета. С тех пор, получая пенсию как бывший депутат и блокадник, он принимает участие в культурной и правозащитной деятельности. По пути мы договорились не начинать разговор об Украине, Люба тоже

не стала поднимать эту тему. Она, как и многие (большинство?) представители петербургской интеллигенции, в том числе и мои друзья по шестидесятым, кроме Леонида, считает «возвращение» Крыма в состав России законным и правильным. Она также на стороне сепаратистов Донбасса в их противостоянии с правительством Украины. И Люба — это Люба: она не только активно поддерживает беженцев в приграничных районах России, но и ездит в Донбасс, чтобы узнать, как дела у коллег-ученых. Резкие разногласия по Украине разделили семьи и друзей. Иногда, но не всегда, мне удается предположить, какотреагируют друзья на то или другое событие. Вилен — украинец, но всегда «белая ворона» — поддерживает возвращение Крыма России, яростно выступает против «националистического» правительства Порошенко в Киеве. Он оставил дом и семью и переехал в Крым, но сейчас вернулся в Александрию и принимает участие в протестных действиях.

В тот вечер мы с Любой и Леонидом говорили о другом — в частности об их приезде в Лондон на спектакль по пьесе Ибсена «Строитель Сольнес». Они получили приглашение от агента исполнителя главной роли — актера, кинорежиссера и продюсера Рэйфа Файнса — провести выходные в Лондоне, посмотреть спектакль и после этого поужинать с ним и поговорить о Рудольфе Нуриеве. Удивлению не было предела: «А кто такой Рэйф Файнс?» — теребили они своих русских друзей, живущих сейчас в Лондоне. Короче говоря, они поехали, и теперь, когда выйдет фильм Файнса о Нуриеве, двое молодых актеров будут играть его друзей Романковых в Ленинграде в 1960 году.

Люба продолжает работать в своей лаборатории, постоянно занята, но всегда находит время для добрых дел. Помните Володю Фролова, одного из друзей Эльмара, у которого недавно случился инсульт? В свое время он работал под началом отца близнецов в Технологическом институте. Я написала о его болезни Любе, она тут же выяснила, в какой он больнице, навестила его и написала мне. «Ты как узнала?» — спросил Володя. «Новости из Лондона», — ответила она, и оба рассмеялись. К сожалению, новости не были хорошими.

Если мы вернемся назад по Литейному, то дойдем до Малого Мраморного дворца Европейского университета. Отсюда можно

пойти в две стороны: налево — на набережную и потом на запад вдоль элегантных зданий, через Фонтанку, где жила моя подруга по кафедре трудового права Люся, мимо чугунной решетки Летнего сада, бело-голубого здания Института культуры, где преподавал Эльмар, или направо — мимо других роскошных зданий (где купил квартиру Ростропович), мимо Дома ученых, к Эрмитажу. В любом случае вы наслаждаетесь великолепным видом через Неву — крейсер «Аврора», мечеть, Петропавловская крепость. Но в плохую погоду на пешеходов обрушиваются беспощадные ветер и дождь. Однажды в октябре ветер вырвал у меня из рук зонт, и я, пытаясь его поймать, выпустила сумку с покупками, которую сразу унесло очередным порывом... Мне вспомнилась буря из знаменитой поэмы Пушкина «Медный всадник»: затопленный город, беспомощные перед лицом стихии люди и несущаяся за обезумевшим Евгением статуя Петра I «на звонко скачущем коне». Лучше свернуть с набережной в Летний сад и отправиться на юг, через Марсово поле, где в блокаду находился огород Романковых.

Марсово поле, Дворцовая площадь, Медный всадник

На площадь, где до революции проводились военные парады, выходят величественные здания — в царские времена там располагались Павловские казармы и дома знати, а после революции жили советские деятели культуры и науки. Марсово поле — это Гайд-парк или Кенсингтон Санкт-Петербурга. Перед нами — небольшая река Мойка, а за ней — Михайловский замок, где был убит император Павел I, а дальше, справа, за деревьями парка — Русский музей. Построенное по проекту К. Росси в 1820 году здание Михайловского дворца было в 1895 году выбрано императором Николаем II в качестве помещения для коллекции русского искусства, созданной в честь его отца Александра III. В коллекцию вошли экспонаты из Эрмитажа и других музеев, а после революции здесь разместили и частные коллекции. Прекрасный музей.

На площади перед зданием Русского музея установлен знаменитый памятник Пушкину, который как бы указывает нам

направо, на Михайловский театр оперы и балета, уступающий только Мариинскому по богатству декора и качеству спектаклей. Ансамбль площади довершают великолепные здания Филармонии и гостиницы «Гранд Отель Европа».

Музыка? Если бы в сегодняшнем городе оказался молодой Шостакович, что бы он выбрал — остаться или уехать? С юга России приехала учиться музыке молодая певица Анна Нетребко. По легенде, она мыла полы в Мариинском театре, когда ее пение услышал главный дирижер Валерий Гергиев — так и началась ее международная карьера. В девяностых молодые музыканты и танцоры уезжали на Запад. Сегодня? Не знаю. Всё, что я могу сказать, — это что по сравнению с девяностыми сегодняшний поход в Мариинский или Филармонию — словно возвращение в мир яркого света, больших актерских ансамблей, изысканных костюмов и аншлагов.

Осенью 2015 года мы с Галиной пошли на новую сцену Мариинского посмотреть авангардную постановку «Евгения Онегина», которая нам, искушенным пожилым театралкам, сидящим среди молодежной большей частью аудитории, понравилась. В антракте мы выпили французского шампанского, спустились на суперсовременном лифте, а после спектакля на такси вернулись домой. Цены на билеты, по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком, все еще невысоки, но для российских зрителей достаточно значительны — 25 долларов за фортепьянный концерт в Малом зале Филармонии в октябре 2016 года. Но пустых мест нет, и многие приходят с детьми. У девочек по-прежнему белые банты в волосах и гольфы на тоненьких ножках, а вот родители, да и все взрослые вообще, одеты теперь иначе — так люди одеваются и в Лондоне, и никто больше не переобувается в туфли, сдавая сапоги в гардероб.

В одном квартале отсюда — канал Грибоедова. Посмотрите на юг — и увидите на Невском огромный собор с классической колоннадой — Казанский, где в советское время был Музей истории религии и атеизма. Напротив него — шестиэтажный дом компании «Зингер» с глобусом на крыше, где находится «Дом книги» и кафе. Раньше это был лучший книжный города, но теперь за книгами я бы посоветовала отправиться в расположенный дальше по Невскому «Буквоед». Севернее открываются

взгляду легко узнаваемые резные разноцветные купола Храма Спаса на Крови, построенного на месте покушения на царя Александра II в 1881 году, приведшего к его смерти. Во времена СССР купола собора долгие годы были скрыты строительными лесами и внутрь никого не пускали. Теперь собор вновь открыт.

Отсюда совсем недалеко до Дворцовой площади и Эрмитажа. Если прийти сюда в 10 утра, как это сделала Марион, до появления групп школьников и туристов, то можно целый час в одиночестве любоваться картинами Рембрандта. Но мы перейдем улицу, минуем Адмиралтейство с его золотым шпилем и пойдем по набережной к памятнику Петру I — «Медному всаднику», стоящему перед Исаакиевским собором. Здесь любят фотографироваться новобрачные со свитами гостей. Взор Петра обращен к Васильевскому острову. Полюбуйтесь видом, но, поскольку теперь вы уже хорошо знакомы с его зданиями и памятником Ломоносову, давайте поедем на автобусе через Дворцовый мост, мимо здания Биржи с классическим римским фасадом, мимо двух огромных красных ростральных колонн, указывавших кораблям путь в Большую и Малую Неву, и еще через один мост — на Петроградскую сторону.

Петроградская сторона

И вот мы вновь на знакомых мне с шестидесятих годов улицах. Увы, на месте общежития высится роскошный многоквартирный дом, а рынок — лишь тень былого великолепия — со всех сторон окружен магазинами, где можно купить все, что душе угодно: от всяких мелочей до мобильных телефонов, от фермерских товаров до великолепных тортов в кондитерской «Север». «Сэконд хэнд!» — выкрикивает пожилой мужчина, размахивая табличкой у комиссионки, где продают одежду из западноевропейских благотворительных магазинов.

Здесь, неподалеку от рынка, живет Вера. В 1993-м вместе со старшей сестрой Ниной она приехала в Петербург навестить дочь Ольгу. Ситуация оказалась гораздо хуже, чем она ожидала. Хотя Вера отправляла дочери посылки с едой и деньги, холодильник в комнате, где Ольга жила с двумя подругами, был пуст. Вера и Нина решили продать квартиры в Тамбове — две своих

однокомнатных и двухкомнатную, доставшуюся им в наследство от родителей, и переехать в Санкт-Петербург. Сумма набралась достаточная для покупки четырехкомнатной квартиры на окраине города, и Ольга переехала к ним. Но Нина тяжело заболела, и они начали обмен, чтобы быть поближе к больнице, однако обмен завершился уже после ее смерти. За последующие десять лет они переезжали семь раз (в каждой квартире Ольга делала ремонт) и постепенно приближались к центру, пока в 2006-м не оказались в четырехкомнатной квартире на Петроградской стороне. Ольга с мужем, выходцем из Абхазии, разменяли ее на трехкомнатную, где они живут вместе с Верой, и однокомнатную, которую сдают. Несколько лет одну комнату в их трехкомнатной квартире снимал студент из Китая, а когда он закончил учебу и переехал в Москву, Ольга с мужем усыновили мальчика. Вера его просто обожает.

Вере нравится принимать гостей. Несколько лет назад, в один из своих приездов я допустила ошибку, пригласив трех своих подруг — Веру, Галину и Тамару — пообедать в ресторане. Галина посоветовалась с молодым коллегой на кафедре. Он порекомендовал новый ресторан — «Парк Джузеппе» — на углу Михайловского сада у Русского музея. Вера неохотно согласилась приехать на такси и встретиться с нами на углу. Она ждала нас у красивой решетки сада. Я взяла ее за руку, и мы потихоньку двинулись разыскивать ресторан. Увидев вывеску на здании из красного кирпича, я радостно окликнула остальных. Вера осталась как вкопанная. «Девочки, — сказала она, — в советское время здесь был общественный туалет». У меня упало сердце. Сейчас это очень милый итальянский ресторан. Но обед начался неудачно. Вера объявила, что хочет оливье — знаменитый русский салат, и никак не могла поверить, что здесь его не готовят. Галина забыла дома очки и не могла прочесть меню. С трудом все как-то утряслось. Вера выбрала креветочный коктейль, и все были довольны.

Этим летом мы поддались на уговоры и приняли Верино приглашение на обед. В кондитерской «Север» поблизости мы купили торт. Вера приготовила окрошку, несколько салатов, горячее с картофельным гарниром, овощное рагу с сосисками... десерт... Между подачей блюд мы вместе валимся отдохнуть на

широкую Верину кровать. Иногда Вера нам что-то читает — из писем или своих мемуаров, иногда мы просто засыпаем.

Возле Дома культуры промкооперации, позже преобразованного в Дворец культуры Ленсовета, играет джаз-банд. Интересно, какие развлечения предлагаются во Дворце сейчас? В шестидесятых там было мало интересного: мне вспоминается только спектакль тбилисского театра, с грузинским вариантом шолоховского «Тихого Дона» — но вовсе не потому, что он мне очень понравился.

Борис Максимович Фирсов с женой Галиной тоже живут на Петроградской, в двухкомнатной квартире, в которой Борис вырос и где в конце тридцатых, недолго просидев в промерзшей КПЗ, умер его отец. Будучи секретарем райкома партии, Борис мог претендовать на более просторную квартиру, но ему никогда и в голову не приходило воспользоваться служебным положением. Год назад он сильно болел, ему понадобилось больше года, чтобы оправиться от операции на сердце (он снова отказался от особого лечения), но свершилось чудо, и он опять на ногах и пишет. Я приходила к ним на обед — Галина столько всего наготовила, включая огромный горячий язык, и у нас было столько интересных тем для разговора, что ушла я только поздно вечером. Начали мы с рассказа Галины о том, как во время войны колонна ее школы не смогла прорваться через блокаду и вернулась в город. Девочка оказалась одна в квартире — ее мать с младшим братом уехали, и встретиться им предстояло лишь намного позже. Потом перешли к истории Бориса, который сдавал вместо друга вступительный экзамен в институт по подложным документам. А потом говорили о Европейском университете, Брежнев и сегодняшней путинской России.

Панорама современного города

Если не считать новых магазинов и потока машин, то центральные районы города мало изменились. Строить здесь новые дома разрешают исключительно редко, но город стал красивее — везде магазины, огни, рекламные плакаты вместо политических лозунгов. Панораму города спасла удачная общественная кампания против строительства башни «Газпрома». Новыми

домами теперь застроены некогда пустые места на севере и западе Васильевского острова и в северной части Петроградской стороны — здесь можно встретить жилые дома, офисные здания и предприятия любых архитектурных стилей. Крайние районы, связывающие город с зонами отдыха на Финском заливе, изменились еще больше — там выросли высотные жилые кварталы, построены солидные частные дома и торговые центры, среди которых затерялись оставшиеся старые деревянные дачи. Из нового аэропорта можно, минуя город, попасть на курорты Финского залива — по новому длинному мосту до Кронштадта — военно-морской базы, построенной еще в петровские времена. Сегодня город окружает четырехполосная автодорога, на которую выходят городские шоссе. Вокруг нее, будто упавшие с неба, прямо в чистом поле стоят сюрреалистические кварталы новых двадцатиэтажных домов — бетон, кирпич и стекло, — иногда выкрашенных в пастельные тона. Здесь есть магазины, школы и парковки, и жители города и вновь приехавшие селятся здесь в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах. По утрам и вечерам цепочки машин, словно муравьи, ползут в город и обратно. Интересно, чем здесь занимаются дети после школы?

Несмотря на санкции, в магазинах можно купить практически то же, что и в Европе. Да, пропал хороший европейский сыр, да, те, у кого есть машины и время, едут в Финляндию за дефицитными продуктами. Цены — часто европейские — быстро растут, а зарплаты и пенсии — практически нет. Но тем, у кого есть деньги, не нужно ехать за покупками в Европу. В 2015 году в магазине Ессо возле Андреевского собора я купила две пары обуви по лондонским ценам, а Галина — сумку, входившую в специальное предложение. Год спустя она по интернету заказала большой новый холодильник, его доставили в квартиру и забрали старый. В немецком интернет-магазине она купила очень красивое зимнее пальто и сапоги. Галина является постоянным клиентом в фирме такси, которая забирает ее от подъезда и предоставляет скидки, но даже без них цены вполне приемлемые — конкуренция очень большая.

На что может обратить внимание приехавший из Европы человек? Санкт-Петербург по-прежнему «белый» город. Здесь есть приехавшие из Средней Азии, которые иногда собираются

в шумные компании во дворах, но очень мало китайцев и еще меньше индусов или африканцев. Иностранные туристы, конечно, встречаются, но их количество не идет ни в какое сравнение с «коммьюнити» иностранцев, существующими в Москве. Машин на улицах много, в автобусах и троллейбусах гораздо больше свободных мест, метро по-прежнему в образцовом состоянии, его пассажиры теперь хорошо обуты, многие сидят, уткнувшись в мобильные телефоны. Несколько лет часть северной ветки метро была закрыта из-за «размыва», но теперь движение восстановлено. Будьте осторожны, когда «Зенит» — футбольный клуб Санкт-Петербурга — выигрывает соревнования. Невский тогда запружен машинами, сидящие в них размахивают плакатами, сигналият, свистят, на тротуарах не протолкнуться от футбольных фанатов в сине-белых шарфах, а центральные станции метро закрыты из соображений безопасности.

В конце девяностых стали появляться новые кафе и рестораны. Интересно, существует ли до сих пор шикарный «Ресторан» с современной мебелью и традиционной русской кухней, открывшийся за зданием Академии наук? В 2000–2010-е годы в Петербурге, помимо существовавших с советских времен грузинских ресторанов, стали открываться итальянские, прибалтийские, китайские заведения. И еще появилась сеть «Штолле», где можно купить разнообразнейшие традиционные пироги (с мясными, овощными, фруктовыми начинками), съесть их тут же, или взять с собой, или заказать доставку на дом. Пройдитесь по 7-й линии Васильевского острова, и у вас глаза разбегутся. Вот два недавно открывшихся хороших ресторана: традиционный советский, с «советским» антуражем — мебелью, самоварами, книгами, шахматной доской, с неизменным супом в меню; и шикарный русский в конце улицы, в здании XVIII века, с легкой верандой. В белые ночи — с середины мая по начало июля, когда в городе проходят разнообразнейшие мероприятия, мест там не бывает. Очень популярный ресторан расположился на крыше одного из зданий недалеко от Невского, возле Казанского собора — отсюда хорошо видна эта часть города. Никакого сравнения с тем, что было еще даже десять лет назад. Но и Лондон тоже изменился. Сейчас лондонцы чаще едят вне дома, особенно в обед. Разнообразные рестораны и кафе заполнили лондонские

улицы. Но в Петербурге, в отличие от Лондона, даже в центре можно встретить кафе или ресторан, где редко увидишь занятый столик. И как только они выживают?

Что еще изменилось? Давайте пока ограничимся Васильевским островом. Здесь находится финский супермаркет Prisma, где я была бы рада закупать продукты на неделю, «Антанта» наверняка уже закрыта. Но за мясом, рыбой и российскими молочными продуктами я бы пошла в другие места. На рынок у Андреевского собора? Здесь вас ждет разочарование. Он сильно изменился: большинство помещений продано торговцам всякой ерундой, и только на нескольких прилавках еще лежат фрукты и овощи с Кавказа и из Средней Азии, молоко, творог и соленья из окрестных деревень, да десяток спулых рыб плавает в бочке. Мяса очень мало. Единственное, что до сих пор привлекает взгляд, — это сияющий мед множества сортов. Галина продолжает иногда покупать здесь молоко, но любые молочные продукты можно купить и в супермаркете, гораздо ближе к дому. Мы заходим в старомодную аптеку через улицу. Странно, что в городе так много аптек — скорее европейского, чем английского типа — со стеклянными витринами и одетыми в белые халаты строгими продавцами. Может быть, аптеки, еще до революции, пришли в Россию из Германии, да так и не изменились.

По Малому проспекту можно доехать на троллейбусе до отделения Сбербанка — залитого неоновым светом, с удобными диванами, кабинками, скрывающимися за матовым стеклом тех, кто внутри, и банкоматами, где можно получить самые разные услуги. Выйдя на улицу, зайдем в магазин, принадлежащий, должно быть, кондитерской фабрике «Азарт» (для меня — Микояна), — пещеру Аладдина с роскошно упакованными всевозможными конфетами и сортами шоколада. Галина хочет купить килограмм конфет «Коровка» для моих внуков — их любимый сорт сладостей из России. Кроме нас в магазине никого нет, только за прилавками скучают три продавщицы. Теперь в продаже есть что угодно, девяностые ушли в далекое прошлое. Но ассортимент некоторых магазинов обескураживает — хороший фарфор и стекло, тут же стеллажи с одеждой, средства для ухода за волосами, за перегородкой сидит портной и чинит одежду,

а под прилавком, для знакомых клиентов, есть салями из Финляндии.

И вот мы вернулись в начало — в предисловие: я сопровождаю Галину в больницу на осмотр врача. Молодой доктор Дмитрий Игоревич спрашивал у нее, кем я работаю, и она говорила с гордостью, но небрежно, как и подобает профессору: «Она — англичанка, профессор из Оксфорда, мы дружим уже больше пятидесяти лет». И вот она знакомит нас: «Это Мэри, я вам о ней говорила». Теперь моя очередь играть роль, хотя с тех пор, как я преподавала в Оксфорде, прошло уже двадцать лет, а Дмитрий Игоревич, вероятно, бывал в Лондоне и знает, что не все англичане чопорны. «Уверена, — обратилась я к нему тоном пожилой директрисы, — что вы сделаете для Галины все возможное, мы очень на вас рассчитываем». Он утвердительно улыбается в ответ, мы тоже улыбаемся, спускаемся по лестнице, выбрасываем голубые бахилы в специальную урну и вызываем такси, чтобы ехать домой на Васильевский.

Постскрипtum

На Блумсбери спускается вечер. Солнце выходит из-за домов на противоположной стороне улицы и светит в окно моего кабинета. Герань Живкова оживает. Стекло на большой карте «Санкт-Петербург 1914 год» блестит. В 1914–1917 годах городской справочник, где перечислялись жители, торговые, культурные и правительственные учреждения, выходил с вложенной в конец каждого тома иллюстрированной картой города. Со временем эти справочники перекочевали в библиотеки, но карты иногда можно было найти в антикварных магазинах. В 1961-м я купила одну из них на Литейном за 5 рублей. Рядом висит батик с изображением самых известных зданий, мостов и памятников на фоне размытого пейзажа Санкт-Петербурга. Есть на нем и Европейский университет, сотрудники которого подарили мне этот батик на прощание, а в рисунке туч можно разглядеть воспроизведенную художником мою подпись.

На книжной полке стоит подаренная Пашковым фигурка Пушкина, теперь с его руки свисает маленькая электрическая пробка, сделанная заключенным в мастерских лагеря «Пермь-36» на Урале. У ног Пушкина примостился небольшой гипсовый лев — копия скульптуры из Ливадийского дворца неподалеку от Ялты, где Сталин встречался с Черчиллем и Рузвельтом. Среди фотографий моих детей и внуков устроилась матрешка: Горбачев с красным лозунгом «Перестройка», внутри него — Брежнев, а в нем — все уменьшающиеся фигурки Хрущева, Сталина и Ленина. На стене висят два плаката школьного исторического конкурса «Мемориала».

Солнечные лучи добираются до гостиной. Когда Джо был еще достаточно мал и верил в сказки, я рассказывала ему, что люди и животные на картинах по ночам оживают и сходят

с полотен. Лежащий весь день у самовара под деревом лев ходит по коридору, заглядывает в мою спальню — сплю ли я, и не дает никому слишком расшуметься. Хуже всего ведут себя женщины с картины Зинштейна, стоящие в очереди на почте в Ленинграде, и три джентльмена с картины Ершова, едущие по полям на длиннющем велосипеде. Женщины шушукуются и сплетничают. Мужчины слезают размять ноги и приглашают с ними прокатиться девушку с картины Витинга, сидящую, закрыв лицо руками, с самого своего появления в 1938 году. Возможно, она и улыбается, но остается неподвижной.

В коридоре — фотография, сделанная Максимом Якубсоном: мальчик играет на флейте в одном из подвалов Петербурга. Максим написал на обороте, что мальчик уехал в Индию в 1980-х и с тех пор пропал. В конце коридора, откуда все прекрасно видно, удобно расположилась «Женщина с гранатом» Шемякина — со снисходительной улыбкой она наблюдает за происходящим. Стоит мне начать просыпаться, лев тут же разгоняет всех по местам. Иногда, встав, я проверяю: сидят ли мужчины на велосипеде? жужжит ли по-прежнему в воздухе пчела? Я вопросительно смотрю на льва под деревом. Он лукаво подмигивает, или только так кажется? «Никак не пойму», — говорю я Джо.

Источники и благодарности

Нет надобности указывать источники приведенных в книге разговоров, воспоминаний и писем, но для выдержек из дневников и опубликованных воспоминаний они необходимы.

Автобиографическое эссе Эльмара «В миру и наедине с собой» написано в середине девяностых, его можно найти по ссылке: http://samlib.ru/s/sokolow_e_w/memory.shtml#_Toc42652481.

Мой рассказ о том, что делал и думал Андрей Алексеев, основан на неопубликованных материалах, хранившихся в его архиве Института социологии в 1990-х. Многие из них были позже опубликованы (впервые или в новой редакции) в его книгах «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» (СПб., 2003. Т. 2, особ. с. 438) и «Из неопубликованных глав» (Т. 1. С. 378–379). Обе книги можно найти по ссылке: <http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=216>. С его разрешения я иногда включала ранее не публиковавшиеся цитаты.

Многие цитаты Вилена Очаковского взяты из неопубликованной рукописи «Выродок, или Антигерой нашего времени. 1955–1992» и из главы в книге А. Алексеева «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» (Т. 2. С. 422–433, с комментариями Геннадия Хороших).

Воспоминания Любы Мясниковой приводятся по изданию ее рассказа «Блокада» (Звезда. 2012. № 9. С. 167–180) и статьи «Почему милые девушки рвутся в науку» в сборнике «Из истории отечественной науки (женщины-ученые в Физтехе)» (СПб. 2008. С. 120).

Некоторые части глав 1 и 2 опубликованы в статье «Дети Сталина: Ленинград 1960-х» (Социологический журнал. 2005. № 4. С. 104–116); некоторые части главы 7 — в моей книге на английском языке “Human Rights in Russia, Citizens and the State from Perestroika to Putin” (London; New York. 2015).

Все фотографии публикуются с согласия владельцев.

Я очень благодарна всем, прочитавшим мою книгу на разных этапах ее подготовки и высказавшим свое мнение: Катрине Басс, Владимиру Гельману, Розе Гликман, Патрисии Харрис, Оксане Мамыриной, Марион Маколи, Гари Яршону. Мемуары написаны на английском языке для англоязычного читателя. За их перевод на русский язык я сердечно благодарна Елене Ивановой.

В заключение выражаю особую благодарность моему семнадцатилетнему внуку Джо Маколи, прочитавшему мою рукопись и написавшему отзыв на нее, заканчивающийся словами: «Но в книге есть два больших недостатка: 1) цвета «Зенита» — синий и белый, а не красный и белый; 2) твой любимый внук Джо ни разу не упомянут». Оба эти недостатка я поспешила устранить.

Сентябрь 2018 г.

Действующие лица

Эльмар и его школьные друзья
(все 1932 года рождения)

Эльмар Соколов (умер в 2003 году) — философ, жил в Ботаническом саду, преподавал в РГПУ им. А. И. Герцена, позже — в Институте культуры. Жена — Альбина, сын — Андрей; жена — Тамара, дочь — Екатерина

Владимир (Володя) Фролов (умер в 2018 году) — физик, научный сотрудник Технологического института

Олег Конради (умер в 2006 году) — врач

Лев (Лёва) Осипов — врач. Жена — Валентина, дочь — Маша; жена — Габриэлла

Дмитрий (Дима) Глебовский — химик, преподаватель Ленинградского государственного университета

Юрий (Юра) Смирнов (умер в 2005 году) — научный сотрудник Технологического института

Другие друзья и коллеги из Санкт-Петербурга, впервые упомянутые в рассказе о 1960-х

Вера Камышникова (1937 года рождения) — студентка исторического факультета Ленинградского университета, затем — учительница на Сахалине и в Тамбове. На пенсии, живет в Петербурге; дочь — Ольга

Галина (Галя) Лебедева (1937 года рождения) — студентка исторического факультета, аспирантка по специальности «Византистика», затем — профессор исторического факультета Ленинградского / Санкт-Петербургского государственного университета

Действующие лица

Леонид и Любовь (Люба), близнецы Романковы (1937 года рождения) — оба ученые-физики, Леонид был депутатом горсовета в 1990–2002 годах, Люба все еще работает научным сотрудником в Физико-техническом институте им. Иоффе РАН

Александр Степанович Пашков (1921–1996) — заведующий кафедрой трудового права юридического факультета Ленинградского государственного университета в 1960-х, затем — директор Центра трудовых исследований во дворце Бобринских

Владимир Ядов (1929–2015) — социолог, профессор; в 1998 году возглавил Институт социологии АН СССР (Москва)

Друзья и коллеги в 1980-х и 1990-х годах

Андрей Алексеев (1934–2017) — токарь, журналист, социолог, работал в Институте социологии РАН; жена — Зина

Борис Фирсов (1929 года рождения) — секретарь райкома, директор Ленинградской студии телевидения, социолог, в 1990-м — директор петербургского филиала Института социологии АН СССР, позднее — основатель и ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Виталий Старцев (1931–2000) — историк, работал в Институте истории АН СССР, затем — в РГПУ им. А. И. Герцена

В этот список не включены те, кто появляется на страницах книги не больше одного раза, но вовсе не потому, что они менее значимы.

Научно-популярное издание

Мэри Маколи

**ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НА ОКНЕ В ПЕТЕРБУРГЕ:
Воспоминания чопорной англичанки**

Перевод с английского *Елены Владимировны Ивановой*

Редактор, корректор — *Е. А. Богач*
Верстка — *Л. В. Васильева*

Подписано в печать 27.11.18. Формат 60×84^{1/16}.
Усл. печ. л. 14,7. Тираж 500 экз.

Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 6/1А
e-mail: books@eu.spb.ru
тел.: +7 812 386 76 27
факс: +7 812 386 76 39
Сайт и Интернет-магазин Издательства
WWW.EUPRESS.RU

Отпечатано в соответствии с предоставленным оригинал-макетом
в типографии издательско-полиграфической фирмы «Реноме»
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.
Тел./факс (812) 766-05-66.

E-mail: book@renomespb.ru; www.renomespb.ru

Заказ № 000